
Вильгельм Йенсен
Градива
11-00
2 30-00

Вильгельм Йенсен

Градива

Фантастическое приключение
в Помпее.

"Альтекс"
Москва
2000

Вильгельм Йенсен. Градива. – М.: Альтекс, 2000. – 79 с.

Перевод с немецкого Веры Барской.
Публикация по изданию "Жизнь и душа", Одесса, 1912
Подготовка текста и редакция В.А.Широкова
Дизайн Ю. Бессоновой-Брыксиной.

Издательство ООО «ПКЦ Альтекс»
Издательская лицензия ЛР №065802 от 09.04.98.
Телефон: (095) 230-44-17

Подписано в печать 30.06.2000. Формат 60x90 /16.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Зак. 21.

Отпечатано в типографии ООО «Мультипринт»
121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д.10, корп. 6

ISBN 5-953121-052-0

Осматривая один из крупных музеев древностей в Риме, Норберт Ганольд наткнулся на барельеф, особенно привлекший его внимание, и был очень обрадован, когда, по возвращении в Германию, ему удалось получить превосходный гипсовый слепок с этого произведения. И вот уже несколько лет висит этот гипс на стене его рабочей комнаты, на почетном месте среди полок с книгами, озаряемый в часы заката вечерним солнцем. Приблизительно в треть натуральной величины изображена была на этом барельефе идущая римская девушка, -virgo-, лет двадцати. Она ничем не напоминала часто попадающиеся рельефные изображения Венеры, Дианы или какой-нибудь другой обитательницы Олимпа, также мало походила она на Психею или Нимфу. Ее образ воплощал в себе нечто буднично-повседневное, но будничное не в низменном значении слова; казалось, что художник наскоро, на ходу запечатлел живую действительность совершенно так же, как в наши дни он зарисовал бы ее в виде эскиза на бумаге. Высокая, стройная фигура девушки, слегка вьющиеся волосы, почти теряющиеся под складками платка, тонкий овал лица, - все это производило чарующее впечатление. Однако ясно было, что она не гонится за таким впечатлением: красивые черты выражали равнодушие ко всему, происходящему кругом, спокойный взгляд, устремленный в пространство, говорил о нетронутой еще силе проницательности и сосредоточенной мысли. Таким образом, молодая женщина не привлекала пластической красотой форм; в ней было нечто

чуждое античной скульптуре, - какая то естественная, простая девичья прелесть, которая, казалось, оживляет гипс. Эту прелесть придавала ей, по-видимому, поза, в которой девушка была изображена. Слегка наклонив вперед голову, левой рукой приподымала она платье, ниспадающее живописными складками, так что видны были ноги в сандалиях. Левую ногу продвинула она вперед, а правым носком лишь слегка прикасалась к земле, причем подошву и пятку поднимала почти отвесно. От этого получалось двоякое впечатление: крайне легкой подвижности идущей женщины и в то же время спокойной самоуверенности. И это соединение парящего полета с твердым шагом придавало ей своеобразную красоту.

В какой стране, в каком городе шла она таким образом и куда она направлялась? Доктор Норберт Ганольд, доцент археологии, не находил в этом барельефе ничего особенного для своей науки. Это не было произведение великого, старого искусства, скорее это была римская жанровая картинка; он даже не мог понять, что в ней привлекло его внимание; но что-то бесспорно привлекло его, и сила этого первого впечатления осталась непоколебленной. Чтобы как-нибудь назвать эту скульптуру, он дал ей имя "Gradiva"- "Шествующая": правда, это был эпитет, приписываемый древними поэтами исключительно Марсу - "Марс Градивус" - богу войны, выступающему в бой, - однако Норберту казалось, что этим прозвищем он лучше всего выразит позу и движение молодой девушки или - если хотите - молодой дамы, ибо несомненно она принадлежала не к низшим сословиям, а была дочерью "благородного"; во всяком случае отец ее был honesto loco ortus*. Быть может, - приходило ему в голову - принадле-

* Происходящий из почетного рода.

жала она к семье какого-ннбудь патрнцнанского эднла, служнвшего культу Цереры, н шла в храм богинн.

Но что-то мешало молодому археологу представнть ее себе в рамках большого, шумного города - Рима. Ее спокойная, тихая манера не соответствовала, по его мненню, пестрой сутолоке, где люди не обращают внимания друг на друга; скорее подходила она к обстановке маленького городка, где всякнй встречный знал ее и, остановившнсь н глядя ей вслед, говорнл своему спутннку: “Это - Градива”... Норберт ннкак не мог заменнть это прозвнще настоящим именем “дочь”. “Ее походка красивее, чем у всех девушек нашего города”...

Как будто он, действительно, слышал эти речн, - так прочно засели онн ему в голову. Затем у него сложилась другая догадка, почти уверенность. Во время своего итальянского путешествня он посвятил несколько недель нзученню древних развалин Помпен, и уже в Германнн однажды пришла ему в голову мысль, что женщина, нзображенная на барельефе, проходит где-то там - в этом древнем городе - по особым каменным плитам, которые давали возможность в дождливую погоду переходить на другую сторону улицы, не мешая в то же время проезду экипажей. И вот он видел, как одна нога ее уже перешагнула через пролет между двумя плитами, а другая еще не оторвалась от землн, н когда он глядел на нее, шествующю, - в его воображенин возникла, как жнвая, вся окружающая ее обстановка. Дополняя картнну свонмн познаннямн по археологни, он рисовал себе тянущиеся вдоль улицы, по бокам ее, два ряда домов, кое-где храмы, колоннады. Кругом кипела жнзнь, шла бойкая торговля, - tabernae officinae canponae, - лавочки, мастерские, кабачки; булочники раскладывали свои хлебы, глиняные кувшнны, укрепленные на мраморных прилавках, предлагали все необходимое для хозяйства и кухнн; и на перекрестке улнцы сндела женщнна с корзи-

нами и продавала зелень и плоды; она очистила наполовину несколько больших грецких орехов, чтобы соблазнить покупателя видом свежего крупного плода. Куда ни обращался взор, всюду были живые краски, пестро размалеванные стены, колонны с красными и желтыми капителями; все искрилось и ослепительно сияло в полуденном солнце. Дальше вглубь поднималась на высоком цоколе белоснежная статуя, а за нею вдали виднелась затуманенная дрожащей игрой раскаленного воздуха гора Везувий, но не такая, как теперь - конусообразная, коричневая, пустынная, - а покрытая до самой расколотой крутой вершины изумрудной растительностью. По улице двигалось мало людей, да и те, по возможности, искали тени - жар летнего полудня обессилил обычно деловую жизнь. И среди всего этого разнообразия шла по переходным плитам Градива, спугнув с них золотисто-зеленую ящерицу.

Как живая, стояла эта картина перед глазами Норберта Ганольда, но когда он изо дня в день рассматривал голову девушки у него постепенно начало складываться новое представление. Ему все более и более казалось, что черты ее не римского или латинского типа, а скорее греческого, и мало-помалу он стал убеждаться в ее эллинском происхождении. Это происхождение можно было объяснить тем фактом, что в древности весь юг Италии был заселен выходцами из Греции; а отсюда вытекали уже дальнейшие, приятные для молодого археолога выводы. Легко было предположить, что молодая "domina"* говорила в своей семье по-гречески и воспитывалась в духе эллинизма. При более внимательном изучении эту догадку подтверждало также и выражение ее лица; за его непритязательностью бесспорно скрывалось что-то умное и тонкое, одухотворенное.

* Госпожа.

Однако эти соображения не могли оправдать действительного археологического интереса к маленькой скульптуре, и Норберт сознавал, что его неудержимо влечет к ней нечто другое, хотя несомненно близкое его науке. Он считал необходимым выяснить, изобразил ли художник картину движения идущей Градивы соответственно действительности. Этого вопроса он не мог разрешить, и его богатая коллекция снимков пластических произведений древности тоже не могла помочь ему в этом. Ему казалось преувеличенным почти отвесное положение правой ноги; при всех опытах, произведенных им на себе самом, никогда не получалось такого крутого наклона ноги, как у Градивы; формулируя свои наблюдения математически, он пришел к заключению, что его нога в тот момент, когда она отрывается от земли, образует половину прямого угла, и это казалось ему естественным для механики хождения, ибо было наиболее целесообразным. Однажды он задал этот вопрос своему приятелю, молодому анатому, зашедшему навестить его, но и тот не мог дать решительного ответа, так как он никогда не занимался наблюдениями в этой области. Он признался, что его личный опыт совпадает с опытом Ганольда, однако не мог сказать, отличается ли женская походка от мужской; так вопрос и остался нерешенным.

Все же этот разговор не прошел бесследно; после него Норберту Ганольду пришло в голову разрешить интересующую его загадку посредством наблюдений над самой жизнью. Правда, женщины были для него до сих пор лишь отвлеченным понятием, воплощенным в мрамор или бронзу, и он никогда не обращал на них ни малейшего внимания. Но его жажда познания пробудила в нем научное рвение, и он предался своеобразному исследованию женской походки. Однако этому наблюдению, производящемуся в сутолоке большого города, препятствовало многое, а потому результатов можно было ждать только от посещения

менее оживленных улиц. Да и здесь длинные платья женщин часто лишали возможности определить их походку, - короткие юбки встречались, главным образом, у служанок, а они, за немногими исключениями, не годились для решения вопроса, уже потому, что носили грубую обувь. Всетаки он настойчиво продолжал свои наблюдения и в сухую и в дождливую погоду; он заметил, что в последнем случае скорее можно добиться успеха, так как дамы вынуждены приподнимать платья. Несомненно, многим из них бросался в глаза его пристальный взгляд, устремленный на их ноги; нередко дама выражала свое недовольство, давая ему понять, что считает его поведение дерзким и бестактным; по временам в женских глазах светилось нечто противоположное, - ведь он был молодым человеком привлекательной наружности - нечто ободряющее; но он не понимал ни того, ни другого. В конце концов, ему удалось собрать значительное число разнообразных наблюдений. Одни женщины шли медленно, другие быстро, одни тяжеловесно, другие легкой походкой. Некоторые лишь скользили подошвой по земле, и только немногие приподнимали ступню до более изящного крутого уклона. И все-таки ни одна из них не повторяла походки Градивы; итак, Норберт, очевидно, не ошибся в своей археологической оценке барельефа. Но, с другой стороны, эти наблюдения огорчили его, так как отвесное положение правой ноги казалось ему красивым, и он сожалел, что оно было созданием фантазии ваятеля и не отвечало действительности.

Вскоре после того, как он пришел к этому выводу, ему приснился страшный сон. Он увидел себя в древней Помпее как раз 24-го августа 79 года, в день ужасного извержения Везувия. Небо окутало обреченный город черным плащом; лишь местами можно было видеть сквозь просветы какие-то массы, залитые кроваво-красным светом вырывающихся из кратера огненных потоков; все жители ис-

кали спасения в бегстве, - одни врозь, другие сбившись в кучи, обезумев, потеряв самообладание от неведомого ужаса. На Норберта сыпались шлаки и пепельный дождь; но как это случается во сне, они не стесняли его дыхания. Когда он стоял таким образом на краю Форума у храма Юпитера, он вдруг увидел недалеко от себя Градиву: до этой минуты ему даже в голову не приходило, что она может быть здесь, но теперь сразу показалось вполне естественным, что она, помпеянка, живет в своем родном городе в одно время с ним, хотя он этого и не подозревал. Он узнал ее с первого взгляда, - ее каменный портрет оказался похожим на оригинал до последних мелочей, точно также и ее походка; он невольно определил ее словом "lente festinans"*. Так шла она спокойно-быстро по каменным плитам Форума к храму Аполлона с характерным для нее безразличием ко всему окружающему. Казалось, она даже не замечала разразившегося над городом бедствия и была поглощена своими мыслями; это заставило и его - правда, на несколько минут - забыть страшную действительность. Чувствуя, что живой образ ее быстро исчезнет, он старался возможно точнее запечатлеть его. И вдруг, как блеск молнии, пронеслась в голове мысль, что, если она сейчас же не спасется, она погибнет вместе со всеми, и крик ужаса сорвался из его уст. Она услышала его: ее голова повернулась, перед ним мелькнуло на миг ее недоумевающее лицо, - и опять тем же шагом продолжала прежний путь. Только лицо ее стало еще бледнее, словно она превращалась в мрамор; она дошла до самого портика храма, там села между колоннами на ступень лестницы и медленно положила на нее голову. Теперь шлаки сыпались так густо, что образовали сплошную непроницаемую завесу, и Норберт потерял ее из виду. Бросившись в ту сторону, где она исчезла,

---

* Медленно торопящаяся.

он увидел ее лежащей под выступом крыши. Неподвижно вытянувшись на широкой ступени, она не дышала, по-видимому, задохнувшись от серных испарений. Красный свет Везувия озарял ее лицо, казавшееся благодаря опущенным векам, прекрасной скульптурой; оно не было искажено страхом, печать полного безразличия и спокойного примирения с неизбежным лежала на нем. Но скоро черты стали неясны, так как ветер, гнавший теперь в эту сторону пепельный дождь, покрыл лежавшую как бы сырым флером, погасил последние отблески света на ее лице и вскоре совсем укутал ее, как зимняя метель на севере, ровным покровом. Вокруг нее стояли еще засыпанная до половины колонны храма Аполлона, но и их уже забрасывала серая масса пепла.

Когда Норберт Ганольд проснулся, в ушах у него все еще звучали смятенные крики жителей Помпеи, ищущих спасения, и глухо рычащий прибой бушующего моря. Но потом он пришел в себя; апрельское утро глядело в его комнату, бросая на постель снопы солнечного света, с улицы несся многоголосный шум большого города, крики продавцов и грохот экипажей. Но перед раскрытыми глазами все еще стояло сновидение, - и понадобилось довольно времени, чтоб освободиться от мысли, что он действительно присутствовал в памятную ночь при драме, разыгравшейся 2000 лет тому назад в неаполитанской бухте. Только одеваясь, постепенно отделался он от этого чувства, но даже усилием критической мысли он не мог освободиться от представления, что Градива жила в Помпее и там была засыпана вместе с другими в 79 году. Первое из этих предположений даже укрепилось в нем до бесспорности, а к нему присоединилось и второе. С чувством грусти смотрел он на старый барельеф, приобретший теперь для него новое значение. Это был в некотором роде надгробный памятник, в котором художник сохранил для потомства

портрет женщины, так рано ушедшей из жизни. И когда он смотрел теперь на ее образ, вкладывая в него свое новое понимание, у него не оставалось уже ни малейшего сомнения в том, что в роковую ночь она, действительно, умерла так спокойно, как это показалось ему во сне. Старая поговорка утверждает, что именно своих любимцев уносят боги с земли в годы цветущей юности.

Не надевая воротничка, в легком домашнем костюме, в комнатных туфлях, лег Норберт на открытое окно и смотрел на улицу. Добравшаяся, наконец, и до севера весна стояла на дворе, и хотя в каменных колодцах города о ней можно судить только по голубому небу и мягкому воздуху, все же какое-то томление волновало чувства, пробуждало тоску по солнечным далям, по зеленой листве, по аромату, по пению птиц; слабые отголоски весны доносились и сюда, - торговки на улице украсили свои корзины пестрыми букетиками полевых цветов, а на открытом окне громко заливалась запертая в клетку канарейка. Норберту было жаль бедной птички; несмотря на ликующий тон, в ее ясном пении слышалась тоска по свободе, по далеким странам.

Но мысли молодого археолога лишь мельком остановились на этой картине, ибо их поглотило теперь нечто иное. Только сейчас пришло ему в голову, что он не обратил надлежащего внимания на то, действительно ли ожившая в его сне Градива шла такой походкой, как ее изобразила скульптура, и какой современные женщины во всяком случае не ходят. Это было тем более странно, что его научный интерес к рельефу возбужден был как раз этой походкой; но понятно, что он мог и не заметить ее, охваченный волнением за жизнь девушки, которой грозила такая опасность. И он тщетно старался теперь восстановить в памяти ее походку.

Вдруг он вздрогнул: в первое мгновение он не мог даже сообразить почему. Но потом он понял: внизу по улице, спиной к нему, шла легким шагом женщина, по виду и одежде, молодая дама. Левой рукой она слегка приподнимала край платья, и ему показалось, что, когда она, во время ходьбы, на мгновение опирается на носок узкой ноги, ступня ее поднимается отвесно вверх. Но так как он смотрел сверху вниз и их разделяло большое расстояние, он не мог с уверенностью убедиться в этом.

Мгновенно Норберт Ганольд очутился посреди улицы, не отдавая себе отчета, как он туда попал. Как мальчик, скользя по перилам, спустился он с быстротой молнии по лестнице, и пробрался среди экипажей, возов и людей. Окружающие смотрели на него удивленными глазами, с их уст срывались шутливые, полунасмешливые возгласы. Но он не понимал, что они относятся к нему, он искал взглядом молодую даму и ему казалось, что на расстоянии двух десятков шагов впереди он различил ее платье, но только верхнюю часть, - нижней же половины и ног он совершенно не мог разглядеть, так как их закрывали от него толпящиеся на тротуаре люди. В это время какая то старая, добродушная торговка взяла его за рукав, придержала и спросила, слегка усмехаясь: “Скажите, сынок, наверно вы сегодня ночью влили в себя слишком много жидкости, если ищете свою постель на улице. Лучше сходите домой и полюбуйтесь на себя в зеркало”. Смех окружающих подтвердил, что он одет неподходяще для публичного места, и тут только он сообразил, до какой степени бессознательно выбежал из своей комнаты. Это его смутило, так как он считался с внешними приличиями, и, отказавшись от своих намерений, он быстро вернулся домой. Но, видно, чувства его находились еще под властью сновидения и обманывали его ложными образами, ибо у него запечатлелся последний момент, когда при смехе и криках толпы, молодая

дама на мгновение повернула голову, и ему показалось, что на него смотрит не чужое лицо, а лицо Градивы.

Богатство доктора Норберта Ганольда делало его неограниченным господином своих дел и поступков, и, когда у него возникало какое-нибудь желание, он осуществлял его, считаясь только с самим собой. Этим он отличался от канарейки, которая только в песне могла выразить свое врожденное стремление вырваться из клетки на солнечный простор, - да и это было безуспешно. Впрочем, в остальном было много сходных черт у молодого археолога с этой птицей. Он тоже родился и воспитывался не как свободное существо; с самого рождения он находился в той клетке, которая создается семейной традицией и воспитанием и определяет дальнейшую судьбу человека. С раннего детства в доме родителей не было ни малейшего сомнения в том, что он, как единственный сын профессора университета и исследователя древностей, призван поддерживать на том же поприще блеск фамильного имени, и даже усилить его; эту деятельность считал он издавна своей жизненной задачей. Он отдавался ей и тогда, когда, после ранней смерти родителей, остался совершенно одиноким, прекрасно выдержал филологический экзамен и совершил обычное научное путешествие по Италии, где увидел в оригинале множество произведений древней скульптуры, которые были доступны ему до тех пор только в снимках. Нигде не мог он встретить более поучительного материала, чем в музеях Флоренции, Рима и Неаполя; он сам сознавал, что пребывание там использовал лучшим образом для обогащения своего специального образования, и вернулся из путешествия с новым запасом знаний, решившись целиком отдаться своей науке. Он только смутно ощущал, что кроме этих предметов далекого прошлого вокруг него имеется

также настоящее. Для него мрамор и бронза были не мертвой материей, а единственными живыми существами, - выразителями целей и ценности человеческой жизни. Так жил он между своих стен, книг и картин, не нуждаясь ни в каких других собеседниках, даже, по возможности, избегая всякого общения с людьми, как пустой траты времени. С большой неохотой и изредка поддерживал он, по необходимости, некоторые традиционные знакомства своих родителей. И все знали, что, бывая в обществе, он совершенно не замечает того, что происходит вокруг. Сейчас же после обеда или ужина при первой возможности, он откланивался и при встрече на улице даже не здоровался ни с кем из тех лиц, с которыми сидел за столом. Это, конечно, мало располагало к нему людей, особенно молодых дам: если ему даже и случалось в виде исключения обменяться несколькими словами с какой-нибудь дамой, он все-таки при встрече с нею, не кланяясь, смотрел на нее, как будто видел ее впервые.

Сама ли по себе археология является оригинальной наукой, или только так преломлялась она в мозгу Норберта Ганольда, но вместе со своей археологией он очень мало привлекал к себе людей, да и сам не умел пользоваться наслаждениями жизни, что так свойственно юности. Однако, в противовес этому, природа, быть может, с добрыми намерениями, наделила его чрезвычайно живой фантазией, которая проявлялась не только в сновидениях, но часто и наяву, - и это мешало ему приспособляться к трезвой и строгой методики исследования. Но это опять таки увеличивало сходство между ним и канарейкой. Она родилась в плену, никогда не знала ничего, кроме тесной клетки, и все-таки она чувствовала, что чего-то ей не хватает, и жажду этого неведомого она выражала звуками своей песни. Так понимал ее Норберт Ганольд, и, когда, вернувшись в свою комнату, опять улегся на окне, ему снова стало жаль

птицы; но сегодня кроме того он испытывал родственное ощущение, - ему тоже чего то недоставало, и он не мог сказать, чего именно. Однако, эти размышления были бесполезны. Мягкий весенний воздух, солнечные лучи, даль с ее ароматами рождали в нем неясное возбуждение, - и ему казалось, что он тоже сидит здесь в клетке за решеткой. Легче стало от сознания, что ему лучше, чем канарейке, потому что у него есть крылья, и ничто не может помешать ему вылететь, при желании, на волю.

Это представлялось уже известным положением, которое можно было развивать логически дальше. Однако Норберту не много пришлось размышлять, и в его голове быстро созрела мысль отправиться в весеннее путешествие. В тот же день осуществил он ее, уложил свой легкий чемодан, бросил в сумерки прощальный, полный сожаления, взгляд на Градиву, которая, в свете последних лучей солнца, казалось, быстрее обычного шла по каменным плитам, и уехал с ночным курьерским поездом на юг. И хотя его натолкнуло на мысль о путешествии какое то смутное чувство, все же в дальнейшем он пришел к заключению использовать свою поездку в научных целях. Он вспомнил, что не выяснил в Риме некоторых важных археологических вопросов, касающихся многих статуй, и теперь отправился туда без остановок.

Не каждому дано испытать наслаждение от поездки, когда путешествуешь весной из Германии в Италию молодым, богатым, независимым, потому что даже при всех этих данных не все люди обладают и чувством красоты. Особенно велико это наслаждение, когда, оставаясь вдвоем в медовые дни и недели свадебного путешествия, встречаешь и провожаешь все, что попадается на пути, с каким-то необычайным восторгом, бесчисленными восклицаниями

и, в конце концов, возвращаешься домой с теми же переживаниями и ощущениями, которые испытал бы, никуда не уезжая. По альпийским долинам к теплым странам, из которых как раз в это время возвращаются перелетные птицы, направляются обыкновенно весной брачные пары. Во время всего путешествия к Норберту доносились со всех сторон шум птичьих крыльев и их голоса, словно он находился в какой-то подвижной голубятне, и впервые в жизни он был вынужден более подробно присматриваться и прислушиваться к окружающим его людям. Хотя по языку все они были его соотечественниками-немцами, все же племенное сродство не вызывало в нем особенного чувства гордости. Напротив, он убедился в том, что до сих пор поступал вполне разумно, уделяя как можно меньше внимания живому виду homo sapiens классификации Линнея. Особенно касалось это женской половины названного вида; Ганольду впервые приходилось видеть на таком близком расстоянии лиц, соединенных взаимным влечением, и он никак не мог понять, что собственно влекло их друг к другу. Для него было непостижимо, почему женщины выбрали именно этих мужей, но еще загадочнее было, почему выбор мужчин пал на этих женщин. Всякий раз, когда он подымал голову и взгляд его падал на кого-либо из них, он не находил ни одного лица, которое привлекало бы взор внешним изяществом или указывало бы на какую-либо внутреннюю работу мысли или чувства. Во всяком случае у Ганольда не было мерила для правильной оценки женской красоты, потому что современных женщин, конечно, нельзя было сравнить с величественной красотой древних произведений искусства; но у него было смутное чувство, что он не грешит против истины, когда не находит во всех этих лицах ничего привлекательного.

Так раздумывал он целыми часами над странными поступками людей и пришел, наконец, к тому выводу, что

среди всех человеческих безрассудств первое место занимает брак, - как самая крупная и самая непонятная и что все эти бессмысленные свадебные путешествия в Италию являются верхом человеческой глупости.

И снова вспоминалась ему канарейка, которую он оставил дома: он чувствовал себя стесненным, как в клетке; со всех сторон его окружали восторженные, молодые пары, которые мешали ему даже смотреть в окно вагона. Вероятно поэтому предметы, мелькавшие за окнами перед его глазами, рождали в нем теперь иные впечатления, чем несколько лет назад. Листья оливковых деревьев блестели более сильным серебристым цветом, одиноко торчавшие к небу то здесь, то там кипарисы и пинии приобретали более красивые и своеобразные очертания; деревушки расположенные в горах, казались более очаровательными, словно все, что он видел, было индивидуальностью с своеобразным выражением лица, а Тразиментское озеро имело такую нежную голубую окраску, какой он не видал еще никогда раньше на озерах. У него было такое чувство, словно по обе стороны рельс открывались новые пейзажи, - словно прежде ему приходилось проезжать здесь всегда в сумерки или в дождливую погоду, а теперь он как будто впервые видел природу в богатстве ее красок, озолоченную солнцем. Раза два поймал он себя на неведомом ему до тех пор желании соскочить с поезда и пешком поискать дороги к тому или другому месту, которое манило его чем-то своеобразным, таинственным. Однако он не поддался этому безрассудному желанию, и курьерский поезд доставил его прямо в Рим. Уже подъезжая к городу, он увидел развалины храма Венеры Медицейской, которыми его встретил древний мир. Освободившись от своей клетки, наполненной "inseparable`ями", устроился он предварительно в знакомой ему гостинице, чтобы затем, не торопясь, подыскать подходящую квартиру.

Весь следующий день он провел в поисках квартиры; не найдя ее, вернулся вечером в свой отель и лег спать, утомленный непривычным итальянским воздухом, солнечным жаром, продолжительной прогулкой и уличным шумом. Он уже стал засыпать, когда был разбужен неожиданным шумом: в соседний номер, отделенный от его комнаты дверью, которая была заставлена шкафом, вошло двое гостей, занявших его еще утром. Судя по их голосам, доносившимся к нему сквозь тонкую перегородку, - это были мужчина и женщина, принадлежавшие, бесспорно, к классу немецких весенних перелетных птиц, с которыми он вчера приехал из Флоренции. Их настроение служило лучшей похвалой римским ресторанам, а крепкое вино “Castelli romani” развязало их языки и они выражали свои чувства и впечатления довольно громко на северно-немецком наречии:

- Мой единственный Август!

- Моя сладкая Грета!

- Ну, вот мы опять вместе.

- Да, наконец, мы опять одни.

- Что еще завтра мы должны осмотреть?

- За завтраком мы увидим в Бедекере, где еще нам необходимо побывать.

- Мой единственный Август, ты мне гораздо больше нрввишься, чем Аполлон Бельведерский.

- Я часто думаю, моя сладкая Грета, что ты много красивее капитолийской Венеры.

- А эта огнедышащая гора, на которую мы хотим взобраться, - она далеко отсюда?

- Нет, мне кажется, надо проехать еще несколько часов по железной дороге.

- А, если бы при нас началось извержение, - чтобы ты сделал?

- Конечно, я захотел бы спасти тебя... Я взял бы тебя вот так на руки...
- Не уколись о булавку...
- Я был бы счастлив, пролить за тебя мою кровь.
- Мой единственный Август!
- Моя сладкая Грета!

На этом пока разговор прекратился. Норберт слышал еще какое-то неопределенное передвигание стульев, потом все стихло, и он опять погрузился в полусон. Во сне он очутился в Помпее как раз во время извержения Везувия. Пестрая толпа спасающихся людей кишела вокруг него. Вдруг он увидел в толпе Аполлона Бельведерского, который поднял Капитолийскую Венеру и положил на какой-то предмет, в безопасном месте, в тени; по-видимому, это был экипаж или тележка, на которой ее должны были увезти, потому что вслед за этим послышался грохот. Этот мифологический факт не удивил молодого археолога; ему показалось странным, что оба они говорили не по-гречески, а по-немецки, ибо немного спустя, наполовину проснувшись, он услышал их голоса:
- Моя сладкая Грета!
- Мой единственный Август!

Но вслед за тем сновидение совершенно переменилось. Вместо спутанных звуков наступила безмолвная тишина, и вместо дыма и пламени на развалины засыпанного города лег горячий солнечный свет. Город тоже постепенно преображался: скоро он превратился в большую постель, по белым простыням которой поползли золотые лучи до самых глаз Норберта Ганольда, и он проснулся, разбуженный ранним римским утром.

Но и в нем самом что-то изменилось; он сам не мог бы сказать, как это произошло, но им опять овладело, какое то странное, щемящее чувство, словно заперт он в клетку, которая на этот раз называется Римом. Когда он открыл окно,

у него в ушах зазвучали еще резче, чем на его родине, разноголосые выкрики уличных продавцов; он попал из одной шумной каменной шахты в другую. Непонятное чувство удерживало его вдали от коллекций древностей, от возможной встречи с Аполлоном Бельведерским и Капитолийской Венерой. И вот после короткого раздумья он отказался от своего плана отыскать квартиру, наскоро уложил опять свой чемодан и отправился по железной дороге дальше на юг. Чтобы избежать общества "inseperable`ей" он поехал в вагоне третьего класса, рассчитывая в то же время встретить там интересные и полезные для него с научной точки зрения итальянские народные типы, служившие некогда натурой для античного искусства. Но он встретил только обычную в этой стране грязь, невыносимо вонючие сигары "Монополь", маленьких искривленных человечков, размахивающих руками и ногами, да представительниц женского пола, по сравнению с которыми его соотечественницы рисовались в его воспоминании почти олимпийскими божествами.

Два дня спустя Норберт Ганольд поселился в весьма сомнительном помещении, называемом "camera"*, в гостинице "Диомед" рядом с украшенным эвкалиптусами "Ingresso" входом на выставку помпеянских раскопок. Он рассчитывал довольно долго пробыть в Неаполе, чтобы опять основательно заняться скульптурой и стенной живописью в Национальном Музее, но с ним произошло то же самое, что и в Риме. В зале помпеянской домашней утвари его окружило множество дам - целое облако модных женских дорожных туалетов, по-видимому, недавно только заменивших девственные атласные, шелковые и газовые подвенечные платья; каждую из них сопровождал молодой или пожилой спутник в таком же безукоризненном муж-

* Комната.

ском костюме. Норберт сделал уже такие успехи в этой новой области знания, ему до сих пор неизвестной, что с первого же взгляда узнавал в каждом из них Августа или Грету. Но здесь, в публичном месте, они уже разговаривали более сдержано.

- Смотри, как это практично. Такую машинку для еды нужно будет и нам приобрести!

- Да, но для еды, которую готовит моя жена, - она должна быть серебряной.

- Почему ты уверен, что еда, приготовленная мною, придется тебе по вкусу?

Вопрос этот сопровождался лукавой улыбкой, и ответом на него был блестящий, влажный взгляд: "Все, что ты мне ни приготовишь, покажется мне прелестным..."

- Посмотри, ведь это же наперсток! Разве у них тогда уже существовали иголки?

- Кажется, существовали; но тебе, мое сердце, этот наперсток не мог бы пригодиться, он был бы велик даже для твоего большого пальца.

- Ты, в самом деле, так думаешь? А тебе маленькие руки больше нравятся, чем большие?

- Твои руки я отличу от рук всех женщин мира, даже в темноте.

- Все это, право, так интересно. Нам необходимо еще съездить и в самую Помпею...

- Нет, не стоит, там остались только старые камни и мусор. Бедекер говорит, что все ценное перенесено сюда. Я боюсь, что солнце будет там слишком жечь твою нежную кожу; этого я бы себе не простил.

- Вдруг твоя жена сделается негритянкой?

- О нет, к счастью, моя фантазия не идет так далеко. Но даже веснушка на твоем носике сделала бы меня несчастным. Если ты согласна, мы лучше завтра съездим на Капри. Там, говорят, все устроено очень удобно, и в чудесном

свете голубого грота я, наконец, узнаю, что выпало на мою долю в лотерее счастья.

- Тише, кто-нибудь услышит... мне стыдно. Но куда бы ты меня ни увез, мне всюду хорошо, где бы мы ни были...

Словом, те же Август и Грета, только в несколько смягченном виде. Норберт Ганольд был в таком состоянии, как будто его со всех сторон угощали жидким медом и ему приходилось принимать его глоток за глотком. Он почувствовал тошноту и убежал из Национального Музея в ближайший ресторан, чтобы выпить рюмку вермута. Ему не давал покоя вопрос: зачем наполняют сотни таких пар музеи Флоренции, Рима и Неаполя, вместо того, чтобы заниматься делом размножения в своем родном отечестве? Однако, из целого ряда болтовни и любовных разговоров он понял, что, по крайней мере, большинство птичьих пар не думает вить гнезда на развалинах Помпеи, а считает гораздо более разумным свернуть на Капри; отсюда у него быстро явилась потребность сделать именно то, чего они не делали. Во всяком случае, это давало ему надежду вырваться из этой перелетной компании и найти то, чего он напрасно искал здесь, в стране заката. Ему нужна была тоже пара, но не брачная, а братская - без вечного щебетания - тишина и наука, две спокойные сестры, которые одни только могли дать ему умиротворяющее убежище. Свое стремление к науке, - если бы в этом не было внутреннего противоречия, - Ганольд мог бы назвать “страстным”. Час спустя он уже сидел в “carozella”*, которая быстро уносила его по бесконечной дороге через Портичи и Резину. Он ехал по улице, торжественно убранной как будто для древнеримского триумфатора: справа и слева почти в каждом доме висели, точно желтые ковры, подсыхающая на солнце

* Экипаж, вроде дрожек.

необозримого количества "pasta da Napoli"*, любимого лакомого блюда населения, в виде толстых и тонких macheroni, vermicelli, spaghetti, canelloni и fidelini**, которые принимали там специфические вкусовые оттенки от запаха сала кухмистерских, столбов пыли, мух и блох, носящейся по воздуху рыбьей шелухи и прочих дневных и ночных примесей. Потом показался вблизи над коричневыми, покрытыми лавой, полями, конус Везувия, а справа открылся в сияющей синеве залив, точно подкрашенный жидким малахитом и ляпис-лазурью. Словно гонимая каким-то безумным вихрем, мчалась скорлупа на колесах, в которой сидел Ганольд, по безжалостной мостовой Torre del Greco, миновала Torre del`Annunziata, достигла обеих гостиниц - "Швейцарской" и "Отель Диомед", подобно Диоскурам, неустанно конкурирующих между собой, и остановилась у последней из них, древне-классическое имя которой и теперь, - как и при первом посещении, - привлекло Ганольда; в ней он и поселился. С величайшим спокойствием смотрел на это владелец соседней гостиницы, стоя у своей двери; он знал, что в горшках классического конкурента варят на той же воде, что и в его отеле, и что так соблазнительно выставленные у "Диомеда" для продажи древности, подобно его собственным, и не думали проводить два тысячелетия под покровом лавы.

Так, вопреки ожиданиям и намерениям, Норберт Ганольд был в несколько дней перенесен с немецкого севера в Помпею; он застал в отеле "Диомеда" не особенно много путешественников, но зато все комнаты кишели musca domestica communis - обыкновенной домашней мухой. Норберту никогда не приходилось испытывать бурных

* Неаполитанское тесто.

** Разновидности макарон.

вспышек своего темперамента, но по отношению к этим двукрылым в нем кипела ненависть; он считал их самой отвратительной из злостных выдумок природы, из-за них признавал бесспорное преимущество зимы перед летом, как единственного времени, когда можно вести спокойное существование, и видел в них самое неопровержимое доказательство отсутствия разума в мировом порядке. Теперь ему пришлось сделаться жертвой мух на несколько месяцев раньше, чем это бывало в Германии; целыми дюжинами напали они на него, как на долгожданную добычу, вертелись у него перед глазами, жужжали в ушах, путались в волосах, бегали, щекоча по носу, по лбу, по рукам. Некоторые из них напоминали ему парочки, совершающие свадебное путешествие, говорили, очевидно, друг другу на своем языке "мой единственный Август" и "моя сладкая Грета"; в памяти истязаемого проснулась тоска по "scacciamosche", великолепно устроенной хлопушке для мух, которую он видел в этрусском музее в Болонье, выкопанную из старой могилы. Значит, уже в древности это гнусное создание, было бичом человечества, более злым и неискоренимым, чем скорпионы, ядовитые змеи, тигры и акулы, которые причиняли только физический вред своей жертве, и от которых можно было охранить себя разумными мерами. Но от обыкновенной комнатной мухи не было никакого спасения; она, в конце концов, надламывала, расстраивала, разрушала духовную сущность человека, его способность к мышлению и работе, всякое вдохновение и всякое художественное восприятие. Не голод и не жажда крови толкали ее к этому, а исключительно дьявольское наслаждение мучить: она была "вещью в себе", в которой абсолютное зло нашло свое выражение и свое воплощение. Этрусская "скаччиамоске", деревянная ручка с прикрепленным к ней пучком тонких кожаных полосок, подтверждала это с несомненностью: так губила муха уже в голове

Эсхила самые возвышенные поэтические мысли, толкала резец Фидия к непоправимым ошибкам, бегала по лбу Зевса, по груди Афродиты, по всем олимпийским богам и богиням от головы до пят... Норберт глубоко чувствовал, что заслуга человека должна прежде всего оцениваться по количеству мух, которое он в течение всей своей жизни, как мститель за весь свой род с древних времен, убил, наткнул на булавки, сжег, вообще уничтожил в ежедневных гекатомбах.

Однако для такой мести у Ганольда не было необходимого оружия, и, подобно героям древности, бессильным, когда они сражались в одиночку, он уступил многочисленному противнику, поле битвы или, вернее, свою комнату. На улице он подумал, что завтра ему придется пережить снова все это, но еще в большем масштабе. Пребывание в Помпее, очевидно, не могло ему дать покоя и удовлетворить его потребность в тишине. Ко всему этому еще присоединилось, правда, весьма смутное, сознание, что причина его неудовлетворенности корениться не только во внешних условиях, но до известной степени и в нем самом. Конечно, надоедливость мух была для него всегда очень противна, однако до такого бешенства, как сейчас, она его все же никогда не доводила. Несомненно, что его нервы находились, благодаря путешествию, в возбужденном и раздражительном состоянии, и это, по-видимому, началось еще дома, как следствие проведенной в комнатном воздухе зимы и переутомления. Норберт был расстроен, он чувствовал, что ему чего-то не хватает, - но чего именно, он не мог себе уяснить. Это настроение всюду сопровождало его; конечно, кружащиеся тучами мухи и брачные пары мало способствовали тому, чтобы сделать жизнь где бы то ни было приятной. Но если бы он не хотел самообольщаться, он не должен был бы скрывать от себя, что, собственно говоря, он так же, как и эти пары бесцельно и бессмысленно

катается по Италии, так же глух и слеп ко всему окружающему, но только меньше способен наслаждаться. Его спутница, - наука, - была положительно похожа на старую монахиню-траппистку, не открывала рта, пока с ней не заговорят, и ему показалось, что он скоро вообще забудет, на каком языке объяснялся с нею.

Попасть в Помпею через "вход" было уже слишком поздно. Норберт вспомнил, как он однажды совершил прогулку по старой городской стене, и стал искать дороги к ней среди кустарников и всевозможных зарослей. Так прошел он некоторое расстояние над городом могил, который лежал направо от него, неподвижно и молчаливо. Каким то мертвым мусорным полем казался этот город, покрытый тенью: вечернее солнце стояло уже на западе низко над горизонтом Тиренского моря. Кругом же оно еще заливало все горы и поля волшебным блеском жизни, золотило растущую над кратером Везувия пинию, красило в пурпур вершины и зубцы горы Сант`Анджело. Высоко и одиноко выступала гора Эпомео из жемчужно-голубого, сияющего искрами моря, на фоне которого рисовался темными контурами мыс Мизенум, подобный таинственной постройке титанов. Куда только ни достигал взор, всюду развертывалась удивительная картина, соединяющая величие с прелестью, далекое прошлое с радостным настоящим. Норберту Ганольду казалось, что здесь он найдет то, к чему влекло его неопределенное чувство. Однако у него не было подходящего настроения; хотя на покинутой стене ему не надоедали ни брачные пары, ни мухи, зато природа не могла дать то, чего он не находил вокруг себя и в себе самом. Со спокойствием, близким к безразличию, обвел он взглядом всю эту пышную красоту, но не ощутил ни малейшего сожаления, что с закатом солнца она поблекла и погасла. И по-прежнему неудовлетворенным он вернулся в гостиницу "Диомед".

Ночью он решил иное: уж если, по своей неосмотрительности, попал он сюда, хотя и "вопреки Минерве", то надо извлечь из своего пребывания здесь хоть какую-нибудь пользу. Как только утром открыли вход к раскопкам, он отправился, на этот раз уже обычной дорогой в Помпею. Впереди и позади шли маленькими группами, в сопровождении неизбежных проводников, с другими путеводителями в руках, все обитатели обеих гостиниц, втайне мечтающие о собственноручных раскопках. Почти исключительно английская и англо-американская болтовня наполняла свежий утренний воздух, немецкие же брачные пары наслаждались счастьем по ту сторону горы Сант Анджело на Капри, за завтраком в излюбленном немцами отеле Пагано, со свойственной германцам слащавостью и одушевлением. Норберт издавна знал секрет, как отделаться удачным словом и щедрой подачкой от надоедливости своего "гида", и получить возможность без помехи отдаться своей цели. Он с удовольствием убедился в том, что его память не изменила ему: куда не заглядывал он, все лежало и стояло на том же месте, как и раньше - как будто он только вчера все это изучал. Убеждаясь в этом на каждом шагу, он увидел, в конце концов, что пребывание его здесь совершенно излишне, и его чувствами и мыслями, как накануне во время прогулки по городской стене, все больше и больше овладевало безразличие. Правда, всякий раз, когда он смотрел вверх, пиния на вершине Везувия почти всегда рисовалась перед ним на фоне голубого неба: и все таки странно, что ему ни разу не вспомнился его недавний сон о том, как он присутствовал в 79 году при разрушении Помпеи извержением Везувия. После целых часов странствования им овладела усталость и сонливость, он не чувствовал ни малейшей склонности к сновидениям: кругом были нагромождены обломки старых арок, колонны и стены, в высшей степени важные для археологии, но без научного

толкования казавшиеся громадной, весьма чисто прибранной, однако, крайне скучной грудой мусора. И хотя наука и грезы обычно находятся на совершенно противоположных полюсах, сегодня они, несомненно, вступили в союз, чтобы лишить Норберта Ганольда своей помощи и предоставить его всецело бессмысленному шатанию.

Так прошел он от Форума до Амфитеатра, от Porta di Stabia до Porta del Vesuvio, вдоль и поперек по улице могил и по многим другим, а солнце тем временем тоже поднялось со стороны горного хребта и дошло до того места, где оно начинает опускаться по направлению к морю. К великому удовольствию охрипших, но мало понимаемых проводников, это послужило для англичан и американцев обоего пола, занесенных сюда по долгу путешествия, знаком того, что не мешает подумать и об обеденном столе обоих отелей Диоскуров: к тому же они собственными глазами обозрели все, что может пригодиться потом для поддержания разговоров по ту сторону океана или пролива, и, полные впечатлений, они стали расходиться, отхлынули общей массой по Via Marina, чтобы вернуться в свои отели к пиру, который только по снисходительности можно было назвать “лукулловым”. Если принять во внимание все внутренние и внешние условия - это было самое умное, что они могли сделать, ибо, хотя полуденное майское солнце очень мило обращалось с ящерицами, бабочками и прочими крылатыми обитателями и посетителями развалин, все же его палящие лучи далеко не были приятны для северной кожи какой-нибудь “мистрис” или “мисс”. И в бесспорной связи с этим, за последний час значительно сократилось число “charmings” и настолько же увеличилось “shockings”, а мужские “auhs”, вырываясь из все шире раздвигающихся челюстей, начали весьма походить на зевоту.

И странно, как только исчезли эти господа, Помпея приняла совершенно другой облик. Она не ожила, именно

теперь только она казалась окаменевшей в мертвой неподвижности. Но от этого получалось впечатление, будто сама смерть начинает говорить, - только непонятным человеку языком. Чудилось, что из камней то здесь, то там, вырывается как бы шепот, - его рождал легкий южный ветерок, древний Атабуль, который два тысячелетия тому назад так же носился вокруг храмов, колоннад, домов, а теперь играет с зелеными, сверкающими былинками на обломках низкой стены. Часто мчался он сюда с берегов Африки, дыша палящим зноем: теперь этого не было, лишь нежно обвивал эти колоннады, как будто снова воскрешая к жизни. Но все-таки природа пустыни чувствовалась и в том легком, но горячем дыхании, которым он обдавал все, что встречалось на пути.

В этом помогало ему солнце, его вечно молодая мать. Оно усиливало его жаркое дыхание и делало то, чего он не мог сделать, - заливало все дрожащим, искрящимся слепящим светом. Словно золотым ножом срезало оно у края домов с semitae и crepidines viarum, - как некогда называли тротуары, - узкие полоски тени, - бросало во все vestibula, atria, peristilia и tablina * полные снопы своих лучей, а где крыша преграждала им прямой доступ, туда солнце посылало свой отраженный свет. Едва ли оставался где-нибудь уголок, скрытый от потоков света и окутанный серебристой тканью полутени; каждая улица тянулась между старыми постройками на подобие длинного растянутого для беления куска холста. Улицы эти были молчаливы и пусты, так как теперь отсюда исчезли не только картавящие и гнусящие англичане и американцы, но, казалось, также и маленькие обитатели - ящерицы и бабочки. В действительности, они находились здесь, но движения их были не-

---

* Vestibulum - род передней; atrium - передний зал; peristilium - внутренний двор с колоннадой; tablinum - приемная комната.

заметны для глаз. Как тысячелетия тому назад, где-нибудь в склонах гор и на утесах, когда шел ко сну великий Пан, так и здесь, боясь потревожить его, вытягивались они неподвижно или, сложив крылья, тихо сидели тут и там. Казалось, что здесь они еще сильнее ощущали святую полуденную тишину, - время призраков, когда жизнь замолкает и мертвые встают и начинают говорить на беззвучном языке духов.

Перемена, которая произошла со всеми предметами, не бросалась резко в глаза, скорее она возбуждала целую гамму чувств, или, вернее, одно чувство - какое то безымянное, шестое и притом настолько сильное и длительное, что охваченный им человек находился всецело в его власти. Правда, к числу одаренных этим чувством людей едва ли принадлежал кто-либо из драгоценных гостей, занятых теперь обедом, в обоих отелях, зато Норберт Ганольд, по природе своей, обладал этим чувством, и ему приходилось мириться с его последствиями. И не потому, конечно, что ему самому хотелось чего-либо подобного; его единственным желанием было, вместо бесцельного весеннего путешествия, спокойно сидеть в своей комнате с поучительной книгой в руке. Но когда он теперь вернулся с улицы могил через геркуланские ворота во внутреннюю часть города и, без определенных намерений и мыслей, свернул около Cassa di Sallustio налево в узкий переулок, в нем вдруг проснулось это шестой чувство. Собственно, это определение неточно, вернее это чувство привело его в какое то странное состояние, - нечто среднее между бодрствующим сознанием и полной потерей его. Таинственно, без малейшего дыхания царила вокруг него залитая солнцем мертвая тишина, так что Норберт почти не решался дышать. Он стоял на перекрестке, где Vicolo di Mercurio пересекал более широкую, тянущуюся далеко направо и налево, Strada di Mercurio; здесь были сосредоточены некогда торговля и

промыслы, о чем молчаливо говорили углы улиц; стояли открытыми tabarnae, лавочки, с потрескавшимися мраморными прилавками; тут же находилась, судя по расположению, булочная, - там целая коллекция больших, пузатых глиняных кувшинов указывала на торговлю маслом и мукой. На противоположной стороне узкие, снабженные ручками амфоры, вставленные в доску стола, говорили о том, что здесь был кабачок, куда, вероятно, стекались по вечерам тесной толпой рабы и служанки из окрестности, чтобы налить в свои кувшины вина из caupona[*] для господ; на semita[**] перед лавочкой еще видна была выложенная мелкими камешками мозаичная надпись, которую уже нельзя было прочесть, до того она была стерта ногами; она, повидимому, расхваливала прохожим vinum praecellens.[***] На стене, на высоте половины человеческого роста, виднелся "graffito"[****] вырезанный, вероятно, школьником на штукатурке ногтем или железным гвоздем, быть может, шутливое примечание к рекламе кабатчика о том, что вино его обязано своим превосходством обильной примеси воды.

Норберту Ганольду казалось даже, что среди каракуль он различает слово caupo[*****], - а был ли это самообман, - он не знал. Он достиг бесспорного совершенства в расшифровке малопонятных graffiti, его заслуги в этой области были уже признаны и оценены, но сейчас эта способность ему изменила. Мало того - у него было такое чувство, будто он вообще не знает латыни, и ему казалось бессмысленным стараться прочесть то, что два тысячелетия

---

[*] Винный погребок.

[**] Тротуар.

[***] Превосходное вино.

[****] Стенные надписи и рисунки.

[*****] Кабатчик.

тому назад нацарапал на стене какой то помпеянский второклассник. Его не только покинула вся его ученость, но пропало даже всякое желание вновь обрести, и он вспомнил о ней словно о чем-то далеком, как о старой, засохшей, скучной тетке, самом мертвом существе на свете. То, что она с архи-ученым видом преподносила нам сквозь сжатые губы в качестве мудрости, представляло лишь раздутое ничтожество, ковыряние в плодах познания, без проникновения в их глубь, в их сущность, - без всякого внутреннего удовлетворения. То, чему она учила, было только безжизненным археологическим воззрением, а то, что она говорила, было мертвым языком филологов. Она не учила понимать душой, чувством, сердцем или как там это называют: в ком был Бог живой - и кто жаждал такого познания, тому ничего не оставалось, как уйти одиноко в жаркую полуденную тишину к остаткам прошлого, чтобы смотреть не плотскими глазами и слушать не телесными ушами. Тогда отовсюду начинало что то выползать без движения и говорить без звуков, - тогда солнце разрушало могильную неподвижность старых камней, горячая дрожь пробегала по ним, мертвые пробуждались, и Помпея начинала опять жить.

В голове Норберта Ганольда, собственно, не было таких кощунственных мыслей, - было только какое-то неопределенное скептическое чувство, с которым он глядел, стоя неподвижно, вдоль Strada di Mercirio по направлению к городской стене. Многогранные куски лавы, образовавшие ее мостовую были все так же безукоризненно пригнаны друг к другу, как и до исчезновения города, и каждый из них был светло-серого цвета. На мостовую падал такой слепящий свет, что она уходила в сверкающую даль подобно серебристо-белой ленте молчаливых стен и развалин колоннад.

Как вдруг...

Открытыми глазами смотрел он вдоль улицы, - но ему казалось, что это происходит во сне: справа, из дома Кастора и Поллукса вышла Градива и легким быстрым шагом направилась по плиткам из лавы, ведущим на другую сторону улицы Меркурия.

Несомненно, это была она; хотя лучи солнца окружали ее фигуру тонкой золотой вуалью, Норберт совершенно отчетливо видел ее именно такой, какой она была на рельефе. Голова была несколько наклонена вперед и покрыта подающим на плечи платком, левая рука легко приподнимала обильные складки платья, так что можно было видеть, как ступня правой ноги при движении принимала почти отвесное положение. Только сейчас все это не представляло однородного, бесцветного каменного изваяния: платье из мягкой, красиво падающей материи, было не холодное, мраморное, белое, а теплого, желтоватого тона; слегка вьющиеся волосы, выбившиеся из-под платка на лбу и на висках, отливали золотисто-каштановым блеском на алебастровом фоне лица.

Это видение сразу и отчетливо напомнило Норберту его сон: он видел ее теперь совершенно такой же, как в ту ночь, когда там, на Форуме, она легла спокойно, словно готовясь ко сну, на ступени храма Аполлона. И вместе с этим воспоминанием у него впервые достигает его сознания еще другая мысль: очевидно, сам не сознавая своего побуждения, он отправился в Италию, прямо в Помпею, не останавливаясь в Риме и Неаполе, именно затем, чтобы поискать здесь следов Градивы, следов в буквальном смысле, ибо, при ее своеобразной походке, она должна была оставить в пепле особый, отличный от всех, отпечаток пальцев ноги.

Сном наяву казалось то, что он сейчас видел перед собою, и вместе с тем это все-таки было действительностью. Он ясно видел на последней переходной плитке непод-

вижно лежавшую на жгучем солнце большую ящерицу, как бы сотканную из золота и малахита. Но, когда приблизилась Градива, ящерица вдруг бросилась вниз и исчезла, извиваясь по ярко-белым плиткам мостовой.

Градива прошлась с обычной спокойной торопливостью через улицу и, повернувшись к нему спиной, пошла по тротуару противоположной стороны; она направлялась, по-видимому, в дом Адониса. Тут она остановилась на мгновение, но потом, как бы передумав, пошла дальше по улице Меркурия. По левую сторону этой улицы из более знатных домов находился еще только один, названный, по найденным в нем многочисленным изображениям Аполлона, Casa di Apollo - домом Аполлона, и Норберту, глядевшему Градиве вслед, опять вспомнилось, что ведь именно портик храма Аполлона избрала она для своего смертного сна. Градива, очевидно, служила культу бога солнца и шла теперь туда. Но вскоре она опять остановилась; переходные плиты снова пересекали улицу, и она перешла обратно на правую сторону ее. Таким образом, Норберт увидел теперь ее профиль с другой стороны. Градива предстала перед ним в несколько ином виде: ее левая рука, приподнимающая платье не была заметна, а правая рука была опущена. Чем дальше она уходила, тем больше терялась она за вуалью золотых лучей солнца, и трудно было проследить, куда скрылась она - вдруг исчезнув перед домом Мелеагра.

Норберт Ганольд все еще стоял неподвижно, затаив дыхание. Так запечатлевался в его памяти образ удаляющейся Градивы, с каждым шагом становившейся все меньше и меньше, и этот образ запечатлевался теперь в формах телесных, материальных. Наконец, он мог вздохнуть полной грудью.

Каким-то шестым чувством, которое, подавляя все остальные, держало его в своей власти, спрашивал он себя, действительность или плод его воображения то, что он ви-

дел сейчас; сон это или нет. Но вдруг его охватила странная дрожь. Ничего не видя и не слыша, он инстинктивно чувствовал, что в полуденный час привидений пробуждается Помпея, - вместе с нею оживает и Градива и направляется в дом, в котором она жила перед роковым 79 годом.

Он знал дом Мелеагра со времени своего прежнего посещения Помпеи, но на этот раз еще не заходил в него; только в Неаполе, в Национальном музее, он ненадолго остановился перед стенной живописью, изображающей Мелеагра и его аркадийскую подругу-охотницу Аталанту. Эта картина была найдена в доме на улице Меркурия, и от нее самый дом получил свое название. Теперь, направившись к дому Мелеагра, Норберт усомнился, действительно ли от убийцы калидонского вепря получил дом свое название. Он вдруг вспомнил греческого поэта Мелеагра, который, правда, жил, за доброе столетие до разрушения Помпеи. Но ведь мог его потомок попасть сюда и построить себе дом. Это совпадало еще с другим его предположением, пожалуй, даже, уверенностью, что Градива греческого происхождения. В его памяти встал образ Аталанты, каким его изобразил Овидий в "Метаморфозах":

Сверху платье ее скрепляла гладкая пряжка,
Волосы связаны были легко в бесхитростный узел...

Точно он не мог припомнить этих стихов, но содержание их было ему памятно; он вспомнил также, что молодая жена Ойнеева, сына Мелеагра, называлась Клеопатрой. Но вероятнее всего речь шла не об этом Мелеагре, а о греческом поэте. Так, в раскаленной атмосфере Кампаньи рождались у него в голове мифологические, историко-литературные и археологические мысли.

Миновав дома Кастора, Поллукса и Кентавра, стоял он теперь перед домом Мелеагра, на пороге которого еще можно было различить инкрустированное приветствие

"Have"*. На стене vestibulum Меркурий передавал Фортуне кисет, наполненный деньгами; это было, по-видимому, аллегорическим указанием на богатство и благосостояние тогдашних обитателей. Сзади виднелся atrium, посреди которого стоял мраморный стол, поддерживаемый тремя грифами.

Пусть и молчалив был дом, чуждо смотрел он на Норберта, не пробуждая в нем ни малейшего воспоминания о том, что он уже был здесь однажды. Но потом внутренность дома, сильно отличавшаяся своим планом от других раскопанных построек города, напомнила ему об этом. Peristilium находился не в глубине дома за tablinum`ом, как это было обычно, а по левую сторону его, но зато он был гораздо больше и отделан роскошнее, чем всякий другой в Помпее. Его окружал портик, опиравшийся на двенадцать колонн, покрашенных внизу в красный, а вверху в белый цвет. Они придавали большому молчаливому пространству торжественный вид; здесь посредине находились piscina** в форме колодца с красиво выложенными стенками. Из всего видно было, что дом принадлежал лицу с видным общественным положением, образованному, обладавшему, к тому же, художественным чутьем.

С напряженным вниманием Норберт глядел кругом, прислушивался. Но и здесь ничто не шевелилось, не слышно было ни малейшего звука. Среди этих холодных камней, не чувствовалось признаков жизни; если даже Градива вошла в дом Мелеагра, она уже опять превратилась в ничто.

За перистилем находилась еще одна комната, - oecus-старинный праздничный зал; он тоже был окружен колоннами желтого цвета, которые издали, в лучах солнца, сия-

* Have или ave - приветствие.

** Рыбный бассейн.

ли, точно золоченные. Но между ними просвечивал еще более яркий, чем на стенах красный цвет. Этой краской покрыла землю не древняя кисть, а вечно обновляющаяся природа. Прежний искусно выложенный пол совершенно разрушился, рассыпался, выветрился; снова царил вечно прекрасный май; он покрыл весь oecus, здесь, как и в других домах города могил, красным полевым маком, семена которого занес сюда ветер и вскормил пепел. Это было волнующееся море цветов, или только оно казалось волнующимся, потому что, в действительности, оно было неподвижно. Атабулус не достигал цветов, он проносился высоко над ними. Но солнце заливало их таким дрожащим огнем, что казалось, будто в бассейне ходят взад и вперед красные волны.

В других домах эта картина не обращала на себя внимания Норберта Ганольда, но здесь его охватила какая-то странная дрожь. Вся комната была наполнена маком - цветами грез, выросшими на берегу литейских вод, и Hypnos* лежал среди них, посылая из соков, скопившихся за ночь в их красных чашечках, одуряющий сон. Норберту, вошедшему через портик перистиля в экус, казалось, что его висков касается невидимым усыпляющим жезлом этот могучий бог - победитель богов и людей; но не тяжелое забвение, а сладкая, навевающая грезы, истома окутывала его сознание. Он еще не поддался ей, и вошел в бывший праздничный зал, со стены которого смотрели древние картины: Парис - присуждающий яблоко, и сатир, держащий в руке ядовитую змею и пугающий ею молодую вакханку.

И тут опять, совершенно неожиданно - шагах в пяти от него, в узкой полоске тени, падавшей от единственного уцелевшего куска верхней части портика, сидела между

* Бог сна.

двумя желтыми колоннами на низких ступеньках женщина в светлом платье. Легким движением она слегка приподняла голову. Незаметно подошедший Ганольд, шаги которого она, по-видимому, только теперь услыхала, увидел прямо перед собой ее лицо, показавшееся ему чужим и в то же время знакомым, как будто он уже видел его где-то в действительности или в воображении, - и это пробудило в нем двойственное чувство. По остановившемуся дыханию и по усиленным ударам своего сердца он почти безошибочно узнал, чье это лицо. Он нашел то, чего искал, что бессознательно влекло его в Помпею; Градива жила своею призрачной жизнью в полуденный час привидений. Она сидела перед ним точно такая же, какой он видел ее во сне, когда она опустилась на ступени храма Аполлона. У нее на коленях лежало развернутым что-то белое, чего глаз его не в состоянии был разглядеть; казалось, это был листок Патруса, и на нем выделялся красным пятном цветок мака. Однако Норберт не мог разглядеть, что это.

На ее лице застыло выражение неожиданности, из-под блестящих каштановых волос и красивого алебастрового лба смотрели на него удивленно-вопросительно светящиеся, как звезды, глаза. Достаточно было нескольких мгновений, чтобы убедиться в ее сходстве с рельефом: такой должна была быть Градива en fase и вот почему черты сидевшей перед ним девушки с первого взгляда показались ему знакомыми. Мягкие тона ее белого платья казались вблизи еще нежнее, благодаря желтому отливу; оно было сшито, по-видимому, из тонкой, чрезвычайно мягкой, шерстяной материи, ложившейся множеством складок. Из той же материи был и платок, накинутый на голову. Из под него выбились на затылке каштановые волосы, незатейливо собранные в узел; спереди же, на шее, под изящным подбородком застегивала платье маленькая золотая пряжка.

Все это заметил Норберт Ганольд. Он невольно приподнял свою панаму и из уст его вырвалось на греческом языке: "Аталанта ли ты, дочь Ясона, или происходишь из рода поэта Мелеагра?"

Та, к которой он обращался, молчаливо посмотрела на него, ничего не отвечая, спокойно-умным взглядом, и у него в голове пронеслась мысль: либо она только воскресший призрак и, вообще, неспособна говорить, либо она не греческого происхождения и не знает греческого языка. Поэтому он заменил его латинским и спросил: "Не дочь ли ты знатного помпеянского гражданина латинского происхождения?"

На это она ничего не ответила, только по ее тонким губам проскользнула сдержанная улыбка. Теперь его охватил ужас: очевидно, она сидела перед ним, как безмолвный образ, как привидение, лишенное дара слова. Смущение, вызванное этим открытием, ясно отразилось на его лице.

Но тогда ее губы уже не в силах были сдержать улыбки, и, смеясь, она сказала: "если вы хотите со мною разговаривать, вам придется говорить по-немецки".

Весьма странно было слышать это из уст помпеянки, умершей два тысячелетия назад. По крайней мере, всякому человеку, находящемуся в другом душевном состоянии, чем Норберт это должно было показаться странным. Но способность изумляться у Норберта была подавлена наплывом новых впечатлений. Градива обладала даром речи, а сам звук этого голоса рождал в нем необъяснимое волнение. Он казался таким же ясным, как и взор ее очей: мягкий, как звон колокола, несся этот звук среди солнечной тишины по цветущему маковому лугу, и у молодого археолога вдруг блеснула мысль, что где-то в своих внутренних переживаниях, он уже слышал именно этот голос. И невольно он громко сказал: "Я знал, что твой голос так звучит".

По ее лицу видно было, что она старается что-то понять, но никак не может. На его последние слова она только ответила: “Как могли вы знать это. Ведь вы еще никогда со мною не говорили”.

Его больше не удивляло, что она говорит по-немецки и обращается к нему по-современному на “вы”: в ее устах это казалось естественным. И он тотчас же ответил: “Да, я не говорил с тобою. Я тебя только окликнул, когда ты ложилась на ступеньках храма, и потом стоял возле тебя - твое лицо было так спокойно-прекрасно, словно из мрамора. Могу я тебя попросить - положи голову опять так же, как ты это тогда сделала”...

Пока он это говорил, случилось нечто странное. С цветов мака прилетела к колоннам бабочка золотистого цвета с красноватыми верхними крыльями, облетела раза два вокруг головы Градивы и опустилась на каштановые волны волос над ее лбом. В то же время ее фигура сразу стала высокой и стройной, она поднялась спокойно-быстрым движением, коротко и молчаливо взглянула еще раз на Норберта Ганольда, как будто хотела сказать, что считает его помешанным, и ушла своей характерной походкой вдоль колонн портика. Она была видна еще мгновение, а потом словно провалилась сквозь землю.

Норберт стоял без дыхания, как бы ошеломленный. Он только смутно понимал то, что произошло. Полуденный час привидений миновал, и, под видом бабочки, прилетел крылатый гонец с асфоделевых лугов Аида, чтобы напомнить ушедшей о возвращении. С этим связывалось, хотя и неясно, еще нечто другое. Он знал, что красивая бабочка стран Средиземного моря называется Клеопатрой, и совершенно так же звалась молодая жена калидонского Мелеагра, с горя по умершем супруге принесшая себя в жертву подземным богам.

Вслед уходившей с его уст сорвался возглас: “Вернешься завтра опять сюда в полдень?” Она не обернулась, ничего не ответила и скоро исчезла в углу экоса за колоннами. Что-то толкнуло его и он бросился ей вслед. Но нигде уже не было видно ее белого платья; залитый горячими солнечными лучами, застыл вокруг него дом Мелеагра без движения и без звука, только Клеопатра трепетала в воздухе на своих мерцающих, красновато-золотистых крыльях, медленными кругами уносясь к цветам мака.

Когда и каким образом очутился он у выхода, - Норберт Ганольд не мог припомнить; он вспоминал только, что его желудок настойчиво взывал к запоздалому обеду в “Диомеде”, после чего он бесцельно отправился по первой попавшейся дороге, забрел на берег залива севернее Кастелламаре, где уселся на обломке лавы. Морской ветер обвевал ему голову. Так сидел он, пока не зашло солнце между горой Сант`Анджело над Сорренто и горой Эпонео на Искии. Однако, несмотря на то, что он пробыл несколько часов у моря чистый воздух не освежил его головы, и он вернулся в гостиницу почти в том же состоянии, в каком вышел оттуда. Он застал остальных гостей за ужином, велел подать себе к отдельному столику везувианского вина, присматривался к лицам ужинавших и прислушивался к их разговорам. По лицам и по речам он убедился, что никто из них не встречал оживший в полдень помпеянки и никто не говорил с нею. Это, конечно, можно было в перед предположить, так как в то время все они были заняты “pranzo” - обедом. Не отдавая себе отчета, почему и зачем, отправился он немного спустя к конкуренту “Диомеда” - в “Швейцарскую гостиницу”, уселся там в уголок, заказал - так как нужно было что-нибудь заказать - опять бутылку везувианского вина, и предался здесь тем же наблюдениям. Они привели его к совершенно сходному результату; кро-

ме того, теперь ему стали известны в лицо все живые посетители Помпеи данного времени. Это, конечно, увеличило его познания, но вряд ли обогатило их; зато теперь в обеих гостиницах не было ни одного мужчины, ни одной женщины, которые остались бы ему неизвестными. Разумеется, ему даже на мысль не могло прийти вздорное предположение, что, быть может, он встретит в одном из отелей Градиву; но он мог бы поклясться также и в том, что ни в одной из встреченных им женщин не было ни малейшего сходства с Градивой. Во время своих наблюдений он часто наполнял свой стакан, опоражнивал его глотками, и, когда, наконец, бутылка была пуста, он поднялся и опять пошел к "Диомеду". Небо было теперь усеяно бесчисленными светящимися и мерцающими звездами. Норберту казалось, что Персей, Кассиопея, Андромеда и их соседи и соседки двигались в медленном танце, легко наклоняясь то в ту, то в другую сторону, и казалось, что внизу на земле темные контуры деревьев тоже не оставались без движений. Это было естественно в такой вечно неустойчивой местности, где подземная расплавленная масса повсюду искала выхода и кое что от ее огня попадало также в виноградные лозы, из которых давили везувианское вино, не принадлежавшее к обычным вечерним напиткам Норберта Ганольда. Не отрицая того, что некоторую долю этого движения следует приписать выпитому вину, он вспоминал, что еще в полдень все предметы медленно вращались вокруг его головы, и если теперь это движение усиливалось, то это не представляло ничего нового, а было лишь продолжением знакомого явления. Он поднялся в свою комнату, постоял еще некоторое время у открытого окна, глядя на конус Везувия, над которым теперь видна была не пиния, а что-то похожее на колеблющийся темно-багровый плащ. После этого молодой археолог разделся, не зажигая огня, и ощупью добрался до своей постели. Но, как только он растя-

нулся на ней, она оказалась не постелью "Диомеда", а красным маковым полем, цветы которого сомкнулись над ним на подобие мягкого, нагретого солнцем одеяла. Его враг, musca domestica communis сидела на стене у его изголовья, черной массой, скованная темнотой до летаргического состояния, только одна из них, терзаемая даже в полусне жаждой крови, жужжала у его носа. Но он не узнавал в ней своего старого врага, - тысячелетнего бича человечества; перед его закрытыми глазами муха порхала в образе красно-золотистой Клеопатры.

Когда утром мухи и солнце разбудили его, он не мог вспомнить, какие еще овидиевы метаморфозы совершались ночью у его кровати. Но, несомненно, какое-то мистическое существо навеяло ему сновидения, ибо он чувствовал, что его голова совершенно заполнена и затуманена ими. Всякая способность к мышлению была парализована, и только одно было ясно его сознанию: ровно в полдень он должен опять быть в доме Мелеагра. Его беспокоила мысль, что сторожа у входа, увидев его лицо, пожалуй, не впустят его, что, вообще, неразумно попадаться людям на глаза. Чтобы избежать этого, для лица, хорошо знающего Помпею, существовало лишь одно недозволенное средство; он мало считался с предписаниями, установленными здесь и опять, как в день своего прибытия, поднялся на старую городскую стену, и обошел по ней кругом все развалины до одинокой, никем не охраняемой Porta di Nola. Проникнуть внутрь здесь было нетрудно. Его совесть не страдала от того, что он не уплатил администрации за вход двух лир, которые можно было вернуть в другой раз. Никем не замеченный пробрался он в пустынную часть города, мало интересную, по большей части еще не раскопанную, уселся в тени и стал ждать приближения срока, посматривая временами на часы. В отдалении он заметил какой-то серебристо-белый предмет, блестевший среди об-

ломков, привлекший его внимание, но своими близорукими глазами он не мог разглядеть его. Однако что-то невольно побуждало его приблизиться, и он увидел высокий, весь увешанный белыми колокольчиками, цветок асфоделя, семя которого было занесено сюда ветром. Это был цветок подземного царства, полный таинственного значения; чувство подсказывало Норберту, что цветок предназначен для него. Он сорвал его и вернулся к своему прежнему месту. Как вчера, все сильнее и сильнее жгло майское солнце, приближаясь, наконец, к своей полуденной высоте; и он двинулся по длинной Strada di Nola в путь. Она была молчалива и пустынна, как почти все остальные улицы; утренние посетители уже опять спешили на запад к Porta Marina и к обеденным столам. Раскаленный воздух дрожал, и среди ослепительного света показалась одинокая фигура Норберта Ганольда с цветком асфоделя в руке; он казался наряженным в современное платье Гермесом Психопомпом*, готовым проводить в Аид усопшую душу.

Не столько сознательно, сколько инстинктивно, он пошел по правильному пути через Strada della Fortuna дальше до улицы Меркурия и повернув направо, пришел к дому Мелеагра. Безжизненно, как и вчера встретили его здесь vestibulum, atrium и peristylium; меж колонн пылали маковые цветы oecusa. Но Ганольду не было ясно, вчера или две тысячи лет тому назад приходил он сюда, чтобы получить у владельца дома какую-нибудь справку, имевшую громадное значение для археологии; какую именно, он не мог теперь определить, и, вместе с тем, хотя это было явным противоречием, вся наука о древности представлялась ему самым бесцельным и безразличным делом в мире. Он не понимал, как может человек заниматься ею, когда существует только один единственный вопрос, на который долж-

* Гермес, проводник душ.

но быть направлено все мышление и исследование: какими физическими свойствами обладает существо, одновременно мертвое и живое хотя бы только в полуденный час привидений. Быть может, оно пробудилось только вчера, единственный раз за сто или тысячу лет... Постепенно Норбертом овладела уверенность в том, что сегодняшнее его посещение дома Мелеагра бесполезно. Он не встретит той, которую ищет: ей не суждено прийти опять; лишь через много столетий явится она, когда и его самого уже давно не будет в живых, когда и он будет тоже мертв, погребен и забыт. Но, когда Норберт шел вдоль стены мимо Париса, присуждающего яблоко, он заметил, как и вчера, Градиву в той же одежде, между теми же двумя колоннами, на той же ступеньке. Но он не поддался иллюзии; он понимал, что виденное им вчера в действительности - сегодня чудиться ему лишь, как плод его воображения. Все же он не мог удержаться от того, чтобы не увлечься игрой своей фантазии; он остановился и с уст его сорвались слова сожаления: "О, если бы ты еще жила!"

Голос его прозвучал громко, и потом среди развалин старинного праздничного зала воцарилась прежняя мертвая тишина. Но тогда раздался другой голос: "Может быть, ты тоже присядешь. Ты кажешься усталым"...

Норберт Ганольд застыл в изумлении. Его мозг мог сознавать только одно: видение не может разговаривать. Быть может это галлюцинация? Не спуская с нее глаз, он облокотился о колонну.

Вдруг видение опять заговорило. Это был голос, который не мог принадлежать никому, кроме Градивы: "Ты мне принес этот белый цветок?"

У Норберта помутилось сознание; он чувствовал, что больше не в силах держаться на ногах, и опустился на ступеньку у колонны. На него смотрели ясные глаза Градивы, но взгляд их был совершенно иной, чем вчера, когда она

неожиданно встала и ушла. Тогда в ее взгляде было что-то недовольное и расхолаживающее, теперь же в ее глазах светилось выражение любопытства и глубокого интереса. Очевидно, она поняла и то, что обычное в наши дни обращение на "вы" неуместно в ее устах в данной обстановке; она ему тоже говорила "ты", и это слово не причиняло ей затруднений, казалось чем-то обычным для нее. Но так как на ее последний вопрос он ничего не ответил, она снова обратилась к нему и сказала: "Ты говорил вчера, что однажды окликнул меня, когда я ложилась на ступеньки храма; а потом, когда ты подошел ко мне, мое лицо было бледно, как мрамор. Когда и где это было? Я не могу припомнить, скажи мне точнее".

Тем временем к Норберту уже явилась способность речи, и он был в состоянии ответить ей: "В ту ночь, когда на Форуме ты села на ступеньках храма Аполлона, и пепельный дождь с Везувия засыпал тебя".

- Ах, так, - тогда. Да, правда - я упустила из виду. А ведь это должно было прийти мне в голову. Но я была слишком мало подготовлена к тому, что ты мне сказал вчера. Гибель Помпеи произошла почти два тысячелетия тому назад. Разве ты тогда уже жил? Мне кажется, ты выглядишь гораздо моложе.

Она сказала это совершенно серьезно, только под конец на ее устах заиграла легкая, милая улыбка. Он смутился и ответил нерешительно, несколько запинаясь: "Нет, конечно, - то есть я думаю, что я еще не жил в 79 году, - быть может, это было - да, разумеется, это было душевное состояние, называемое сном, которое перенесло меня ко дням разрушения Помпеи - но я узнал тебя с первого же взгляда."

На лице девушки, сидевшей против него, отразилось изумление, и она переспросила удивленным тоном: "Ты меня узнал? Во сне? Каким образом?"

- Прежде всего, по твоей своеобразной походке.

- Ты обратил внимание на мою походку? Разве я хожу не так, как все?

Ее удивление все усиливалось; он ответил: "Да, - ты разве не знаешь, - твоя походка изящнее, чем у всякой другой женщины, по крайней мере, среди живущих сейчас ни одна так не ходит. Но я тебя тотчас же узнал и по всему остальному, по фигуре и по лицу, по манере держать себя и по одежде, потому что все в точности соответствует твоему римскому рельефу".

- Ах, так, - повторила она опять в том же тоне, как и раньше, - моему римскому рельефу. Да, об этом я тоже не подумала и сейчас я даже не знаю - как же это, - значит, ты его видел?

Он рассказал ей, что этот рельеф пленил его, что он был очень обрадован, когда ему удалось достать в Германии гипсовую копию его, которая уже несколько лет висит в его комнате. Он ежедневно смотрел на нее и у него постепенно возникло предположение, что картина изображает молодую помпеянку, переходящую по плитам через улицу своего родного города; и сон подтвердил это. Теперь он знает также, что он отправился сюда именно для того, чтобы попытаться найти ее след. И когда вчера он стоял на улице Меркурия, она прошла неожиданно перед ним по плитам, совершенно такая же, как на изображении; казалось, что она направлялась к дому Аполлона. Но несколько дальше она перешла через улицу обратно и исчезла перед домом Мелеагра.

На это девушка утвердительно кивнула головой и сказала: "Да, я хотела зайти в дом Аполлона, но все таки пошла сюда".

Он продолжал: "Это навело меня на мысль о греческом поэте Мелеагре, я подумал, что ты происходишь из его рода и возвращаешься в час, когда это разрешено призракам

в дом твоего отца. Но, когда я заговорил с тобою по-гречески, ты не поняла".

- Разве ты говорил по-гречески? Нет, я не поняла, вероятно, уже забыла родной язык. Но когда ты сегодня вошел и у тебя вырвалось желание видеть кого-то живым, я поняла твои слова. Мне было только непонятно, о ком ты говорил.

Тогда он рассказал ей, что, войдя в дом Мелеагра, он принял ее за видение, явившееся ему на том месте, где он вчера ее встретил. Она улыбнулась и заметила: "Тебе бы, по моемому, следовало сдерживать свое воображение, хотя при вчерашней встрече ты не произвел на меня впечатления фантазера"... Она переменила разговор и спросила: "В чем особенности моей походки, о которой ты раньше говорил?"

Очевидно, этот вопрос живо интересовал ее; он ответил: "Если бы ты захотела..."

И вдруг остановился; он со страхом вспомнил, что вчера она встала и ушла, когда он попросил ее прилечь на ступеньку, у храма Аполлона, как тогда во сне: смутно вспомнился взгляд, который, уходя, она бросила на него. Однако, сейчас она смотрела на него спокойно и дружелюбно. Увидев, что он смутился, она сказала: "Если твое желание, чтобы кто-то жил, относилось ко мне, это очень мило с твоей стороны, и я очень охотно исполню все твои желания..."

Это ободрило Норберта и он ответил: "Я был бы счастлив, если бы мог убедиться, что твоя походка такая же, как на рельефе".

Она охотно встала и сделала несколько шагов вдоль стены. Это была хорошо знакомая ему спокойно-быстрая походка, с почти отвесным уклоном ступни, но теперь впервые он заметил, что на ноге ее вместо сандалии были желтые из тонкой кожи башмаки. Когда она вернулась на

прежнее место, Норберт спросил ее, почему ее обувь отличается от обуви на рельефе. На это она ответила: "Время все меняет. Для нашего времени сандалии не удобны, поэтому я ношу башмаки, которые лучше защищают от пыли и дождя. Но скажи, что тебя поразило в моей походке?"

Этот вопрос указывал, что она была, как и все женщины, очень любопытна. Норберт объяснил, что его заинтересовало своеобразное, отвесное положение ее ступни во время ходьбы; у себя на родине он в течение нескольких недель старался наблюдать на улице походку современных женщин. Но, по-видимому, они совершенно отвыкли от красивой манеры ходить; он встретил только одну единственную женщину, у которой, как ему показалось, была такая же походка. Однако, из за окружавшей его толпы, это нельзя было точно установить, и, возможно, что он стал жертвой обмана зрения, тем более, что и чертами лица она несколько напоминала ему Градиву.

"Как жаль, - возразила девушка - ведь этот факт имеет большое научное значение, и если бы ты убедился в нем, тебе бы, пожалуй, не понадобилось это длинное путешествие сюда. Но о ком говорил ты сейчас? Кто эта Градива?"

- Так я назвал твое изображение, потому что не знал твоего настоящего имени, - да и теперь еще не знаю.

Последние слова добавил он с некоторой нерешительностью; она тоже как будто замялась, но потом сказала: "Меня зовут Зоя".

В голосе его зазвучали страдальческие ноты: "Это имя тебе очень к лицу, но оно кажется горькой насмешкой, ибо Зоя значит - жизнь".

"Нужно мириться с непреложным, - сказала она, - и я уже давно привыкла к мысли, что я мертва. Однако мой час уж пришел; ты принес могильный цветок, дай его мне, с ним я вернусь обратно в могилу".

Она поднялась и протянула тонкую руку за цветком асфоделя; он передал его осторожно, боясь коснуться ее пальцев. Принимая растение, она сказала: “Благодарю тебя. Другим девушкам дарят весной розы, но для меня цветок забвения из твоих рук самый подходящий... Завтра мне будет разрешено в этот час еще раз прийти сюда. Если и тебя твой путь снова приведет к дому Мелеагра, мы встретимся, как сегодня друг с другом у этих маков. На пороге дома стоит: “Have”, и я говорю тебе: “Have”!

Она ушла и, как накануне, исчезла под портиком, как будто провалилась сквозь землю. Опять все было кругом пустынно и безмолвно, только где то вдали вдруг раздался ясный, тотчас же оборвавшийся, похожий на хохот, крик птицы, пролетевшей над городом развалин. Оставшись один, Ганольд смотрел на опустевшее место на ступеньке; там виднелось что-то белое, похожее на лист папируса, который Градива держала вчера на коленах, а сегодня забыла взять с собою. Но когда он боязливо протянул к нему руку, он увидел, что это был маленький альбом с рисунками предметов, сохранившихся в разных домах Помпеи. На предпоследнем листе был изображен стол с грифами в атриуме дома Мелеагра, на последнем же был начат набросок колоннады перистиля. То обстоятельство, что ушедшая девушка делала свои наброски в модном альбоме, было так же странно, как и то, что свои мысли она высказывала понемецки. Но все это казалось Норберту мелочью в сравнении с великим чудом Воскресения Градивы. Очевидно, она пользовалась в свободный полуденный час своим большим художественным талантом, чтобы сохранить для себя виды тех мест, где она некогда жила. Как в словах ее сквозил ясный ум, так и рисунки ее говорили о тонком художественном чутье. По-видимому, когда-то она часто любовалась старым столом с грифами и он стал для нее ценным предметом воспоминаний.

Машинально пошел Норберт с альбомом в руке вдоль портика и на повороте заметил в стене узкую щель, такой ширины, что очень худой человек мог пройти через нее в соседнее здание, а, вероятно и дальше на Vicolo del Fauno по другую сторону дома. Теперь ему стало понятно, почему прежде ему казалось, что Зоя-Градива как будто проваливается на этом месте сквозь землю. Ему было даже странно, как мог он делать такое бессмысленное предположение. Несомненно, Градива пользовалась этой щелью, чтобы пройти обратно к своей могиле, которая находится на Strada dei Sepolcri. Бросившись к выходу, Норберт очутился на улице Меркурия и побежал дальше к воротам Геркулеса. Но когда, задыхаясь, усталый, добежал он до них, было уже поздно; пустынно тянулась ослепительно-белая, широкая улица могил, и только в конце ее, за сотканной из солнечных лучей завесой, казалось, таяла чья то тень перед виллой Диомеда.

Остальную часть этого дня Норберт Ганольд провел в каком-то странном состоянии. Ему казалось, что вся Помпея окутана туманом. Это не был обычный туман - серый, мрачный, печальный, - напротив, он был ярок и многокрасочен, - то голубой, алый, коричневый, то желтоватый и алебастрово-белый, пронизанный золотыми нитями солнечных лучей. Этот туман не мешал ни зрительным, ни слуховым ощущениям, но он окутывал точно густое облако и не давал ей проникнуть за эту непроницаемую стену. У молодого археолога было такое самочувствие, словно ему все время подливали незаметно везувианского вина, которое поддерживало непрерывное опьянение в его мозгу. Он инстинктивно старался выйти из такого состояния при помощи различных средств, - часто пил воду и делал большие прогулки. Хотя медицинские познания Норберта были

невелики, они помогли ему объяснить все, происходящее с ним, сильным приливом крови к голове, быть может, в связи с ускоренной деятельностью сердца, о которой говорило сильное сердцебиение. Его мысли, лишенные возможности вырваться наружу, не оставались бездеятельными: это была, собственно, одна мысль, прочно укрепившаяся в его мозгу, но не приводившая ни к каким результатам. Она неизменно вращалась вокруг вопроса, каковы физические свойства Зои-Градивы, - телесное ли она существо, или только призрак. В пользу первого предположения говорили такие физиологические данные, как орган речи или умение держать в руках карандаш. Однако Норберту казалось, что если бы он коснулся Градивы например, положил руку на ее руку, он встретил бы пустое пространство. Его болезненно влекло убедиться в этом, но страх удерживал от подобного шага. Он чувствовал, что подтверждение каждой из этих возможностей неизбежно вызовет в нем жуткое чувство. Телесность руки пробудила бы в нем ужас, а бесплотность ее причинила бы сильную боль.

Поглощенный этим бесплодным вопросом, который можно разрешить только путем опыта, добрался он, после продолжительной прогулки, до горной группы Monte Sant`Angelo, тянущейся к югу от Помпеи. Здесь неожиданно встретил он пожилого, седоватого господина, который, судя по одежде и разным принадлежностям, был зоолог или ботаник, производивший на самом солнцепеке какието наблюдения. Когда Норберт близко подошел к нему, тот повернул голову, удивленно посмотрел на него и сказал: "Вы тоже интересуетесь faraglionenses? *Раньше я не предполагал, но теперь считаю весьма вероятным, что они во-

---

* Вид ящериц, находящийся на каменистых островках у Капри, называемых Фаральонами.

дятся не только на Фаральонах у Капри, а что если терпеливо и усердно поискать то их можно найти и на материке .Средство, предложенное коллегой Эймером, действительно, хорошо, я уже не раз применял его с полным успехом. Пожалуйста, не шевелитесь..."

Он замолчал, осторожно сделал несколько шагов, и, вытянувшись на земле, подставил маленький силок, сделанный из длинного стебелька травы, к узкой щели в скале, из которой выглядывала голубоватая, с отливами головка ящерицы. Он замер в таком положении. Норберт Ганольд тихо повернулся и вышел опять на дорогу, по которой пришел. Ему смутно помнилось, что лицо этого охотника на ящериц он уже видел однажды, вероятно, в одном из отелей; это подтверждалось и обращением к нему старика. Какие нелепые фантазии могут побудить человека к далекой поездке в Помпею! Довольный, что ему удалось так скоро отделаться от старика и снова сосредоточиться на занимающем его вопросе о телесности и бесплотности Градивы, отправился Норберт в обратный путь. Но, свернув в сторону, он сбился с дороги и, вместо того, чтобы попасть к западной стороне старой городской стены, пришел к восточной; поглощенный своими мыслями, он только тогда заметил свою ошибку, когда вплотную подошел к какому-то дому, - по виду отелю, - который не был, однако, ни "Диомедом", ни "Швейцарской гостиницей". Норберт узнал находившийся подле отеля развалины старого помпеянского амфитеатра, и тогда он вспомнил, из своей прежней поездки, что вблизи амфитеатра есть тоже гостиница, - отель "Солнца", - в который благодаря отдаленности от вокзала, обыкновенно останавливается мало туристов. Норберту было жарко, к тому же туман в его голове не уменьшался, и, войдя в открытую дверь, он велел подать себе бутылку углекислой воды, полезное, по его мнению, средство против прилива крови. Комната была со-

вершенно пуста, правда, она была переполнена мухами, и праздный хозяин, воспользовавшись случаем завязать с посетителем разговор, стал расхваливать свой дом и хранящиеся в нем выкопанные сокровища. Он прозрачно намекал на то, что вблизи Помпеи имеются люди, у которых, среди массы предметов, выставленных для продажи, нет ни одного подлинного, а все подделки, между тем как он, не гоняясь за количеством, предлагает своим покупателям только бесспорные древности. Он приобретает только те предметы, которые были найдены в его присутствии; дальше из разговора выяснилось, что на его глазах раскопали в окрестностях Форума молодых влюбленных, которые, убедившись, по-видимому, в своей неизбежной гибели, в объятиях друг друга ждали смерти. Об этом Норберт слыхал еще раньше, но всегда считал эти рассказы выдумкой фантазеров. Совершенно так же отнесся он и к рассказу хозяина, но тот принес ему в доказательство покрытую зеленой патиной металлическую застежку, которая в его присутствии была извлечена из пепла вместе с останками девушки. Когда Норберт, взял в руки эту вещицу, сила воображения настолько овладела им, что он, без дальнейших размышлений, уплатил потребованную с него чисто английскую цену и быстро покинул со своей покупкой Albergo di Sole. Оглянувшись еще раз, он увидел в открытом окне верхнего этажа цветок асфоделя, стоящий в стакане с водой. При виде этого могильного цветка, Норберту пришла в голову мысль, что благодаря ему, он выяснит подлинность своего нового приобретения.

Он рассматривал застежку, направляясь вдоль городской стены к Porta Marino: напряженное боязливое чувство сменялось в нем чувством раздвоенности. Итак, сказка о молодых влюбленных, нашедших смерть в объятиях друг друга недалеко от Форума, не была праздным вздором. Но ведь он помнил, что, готовясь к смерти, Градива легла

именно у храма Аполлона. Теперь он твердо знал, что это было только сновидением; в действительности же она могла пойти с Форума дальше, встретиться со своим возлюбленным и умереть с ним вместе.

Зеленая пряжка могла принадлежать Зое-Градиве, застегивать платье на ее груди: Зоя-Gradiva была возлюбленной, невестой, быть может, молодой женой того, с кем вместе захотела умереть.

Норберт Ганольд готов был отшвырнуть эту пряжку: она жгла его пальцы, точно раскаленная. Он испытывал такое же страдание, как при мысли, что прикасается к руке Градивы и встречает вместо нее пустоту.

Однако, рассудок восторжествовал над разыгравшейся фантазией. Ведь не было бесспорных доказательств того, что застежка принадлежала Градиве и что именно Градива была найдена в объятиях молодого человека. Успокоившись на этой мысли, он, наконец, свободно вздохнул. Когда, после продолжительной прогулки, в сумерки Норберт добрался до своего отеля, он почувствовал физический голод. С большим аппетитом проглотил он спартанский ужин, который обычно подавался у "Диомеда", несмотря на аргивское происхождение этого названия. За столом он заметил двух новых гостей, приехавших после обеда, - молодого человека и его спутницу, оказавшихся тоже немцами. У них были привлекательные, интеллигентные лица; чем они приходились друг другу, трудно было определить; хотя у молодого человека были светлые волосы, а у девушки - каштановые, но по некоторому внешнему сходству Норберт решил, что это брат и сестра. К ее платью была приколота соррентская роза, что-то смутно напоминавшая Норберту. За все его путешествие это были первые люди, вызвавшие в нем чувство симпатии. Сидя за бутылкой вина, они разговаривали в полголоса, так что их слова не долетали до Норберта. По-видимому, серьезный разговор по

временам переходил в шутливый, потому что их уста складывались в улыбку, которая была им к лицу и вызывала желание принять участие в их беседе. И если бы он встретился с ними двумя днями раньше в обществе англоамериканцев, он, вероятно, так бы и поступил. Но то, что он переживал сейчас слишком резко противоречило искреннему веселью молодых людей, которые безмятежно радовались таинственной загадке жизни, не задумываясь над вопросом о загробном существовании тех, что умерли две тысячи лет тому назад. Душевное состояние Норберта не гармонировало с настроением молодой пары: с одной стороны, он чувствовал, что в их обществе он будет лишним, с другой - просто боялся завязать с ними знакомство: ему казалось, что их веселые, ясные глаза проникнут в глубину его мыслей, и его примут за помешанного. Он ушел в свою комнату, постоял, как и вчера, у окна, любуясь ночным пурпурным плащом Везувия, и лег спать. Утомленный, он скоро уснул, и видел всю ночь странные сны. Где-то на солнцепеке сидела Градива, сделала из травы силок, чтобы поймать ящерицу, и говорила: “Пожалуйста, не шевелись, - коллега права, средство, действительно, хорошо, - она уже применяла его с полным успехом”.

Норберт Ганольд сквозь сон понял, что это сплошной вздор. Он повернулся на другой бок, желая освободиться от кошмара. Ему помогла невидимая птица, которая издала короткий, похожий на смех, - крик, и, очевидно, унесла в клюве ящерицу; после этого все исчезло.

Проснувшись, он вспомнил, что чей-то голос говорил ему во сне о розах, которые дарят весной; впрочем, возможно, что он подумал об этом, когда увидел за окном куст алых цветов. Это были такие же розы, какие он заметил вчера на груди молодой дамы, и, сойдя вниз, он сорвал

несколько цветков. Очевидно соррентские розы обладали какими-то особенными свойствами; их запах показался ему не только удивительным, но и совершенно новым; он как будто оказывал благотворное влияние на его мозг, по крайней мере, он освободил его от вчерашнего страха перед привратниками. Норберт вошел в Помпею через главный вход, уплатил под каким-то предлогом двойную плату и быстро удалился от остальных посетителей. Маленький альбом из Casa di Meleagro он нес с собою вместе с зеленой застежкой и красными розами. Однако, увлекшись ароматом цветов, он забыл позавтракать, и его мысли, чуждые действительности, были всецело поглощены ожиданием условленного часа. Но до полудня было еще далеко, надо было убить время, и он бродил из дома в дом, заходя, главным образом, в те дома, где, как ему казалось, в старину часто бывала Градива, а, быть может, бывает и теперь. Он допускал, что она это делает не только в полдень, но и в другие часы дня, пожалуй, также ночью при лунном свете. Почему-то наводил его на эти мысли запах роз; когда он вдыхал их аромат, мозг его особенно настойчиво работал в этом направлении. Собственно говоря, он не настаивал на своем мнении, - что Градива обладает свойствами живого существа, - он сам признавал необходимость и желательность разумных возражений. Но при этом возникал другой вопрос, - могут ли другие люди видеть Градиву как нечто реальное, - или это свойственно только ему одному. Первое из этих предположений казалось вполне вероятным; но оно совершенно не отвечало желаниям Норберта и пробуждало в нем беспокойство и недовольство. Мысль о том, что другие могут тоже заговорить с Градивой, сесть рядом с нею и завести беседу, возмущала его; он один имел на это право, или, по крайней мере, он преимущественно: ведь это он открыл Градиву, о которой никто ничего не знал, он изо дня в день изучал ее, воспринял ее образ,

перелил в нее до некоторой степени свою жизненную силу. Ему иногда казалось, что именно он оживил ее. Отсюда его чувство приобретало права, на которые он один мог притязать и мог владеть ими нераздельно.

День был еще жарче, чем оба предыдущих, - солнце пекло невероятно и заставляло не одних археологов сожалеть о том, что водопровод Помпеи уже два тысячелетия разрушен. О нем напоминали местами уличные колодцы, носившие на себе следы частого пользования изнывавших от жажды прохожих. Чтобы пригнуться к отверстию, из которого текла вода, приходилось опереться одной рукой на мраморный край колодца, и на этом месте образовалось углубление, как от воды, непрерывно капающей на камень. Норберт заметил это на колодце на углу Strada della Fortuna; он подумал, что и рука Зои-Градивы когда-то опиралась здесь таким же образом, и машинально положил руку в маленькую ямку. Но он тотчас же прогнал эту мысль; ему стало стыдно, как мог он допустить такую нелепость, которая резко противоречила всему поведению молодой помпеянки из образованной семьи; ему казалось унизительным уже одно предположение, что Градива могла таким образом пригибаться и касаться губами того самого отверстия, из которого пил плебс грубым ртом. Он никогда еще не встречал такого изящества и благородства, как в поступках и движениях молодой девушки; ему стало жутко при мысли, что она прочтет в его глазах это бессмысленное предположение. В ее взгляде было что-то проницательное; не раз он чувствовал, что, при свидании с ним, этот взгляд старался, как стальной зонд, проникнуть в его голову и нащупать его мысли. И ему приходилось внимательно следить за тем, чтобы Градива не прочла там ничего нелепого.

Еще целый час оставался до полудня, и, чтобы заполнить его, Норберт пересек улицу и вошел в Casa del Fauno,

самый большой и роскошный из раскопанных домов Помпеи. В отличие ото всех остальных, в нем был двойной атриум, и в более просторном из них, посреди impluvium, находился пустой цоколь, на котором стояла прежде знаменитая статуя пляшущего фавна, от которой дом получил свое название. Однако на этот раз Ганольд не жалел, что это произведение искусства, так высоко ценимое наукой, перенесено, вместе с мозаичной картиной битвы Александра, в Национальный Музей в Неаполе. У него была только одна мысль и одно желание: приблизить время свидания, и он бродил без всякого плана по большому зданию. За перистилем открывался второй перистиль, окруженный многочисленными колоннами, так называемый xystos, - цветочный сад; он и теперь был покрыт, как и экус в доме Мелеагра, алым маком. Задумчиво шел Ганольд среди этих развалин.

Но вдруг он вздрогнул, остановился: он был не один. Вдали он увидел двух людей, которых сначала принял за одного человека, до того близко стояли они друг к другу. Поглощенные собою, они не заметили его, а, может быть, думали, что за этими колоннами они защищены от чужих взоров. Крепко обнявшись, сливаясь губами, стояли они, и Ганольд с удивлением узнал в них молодого господина и молодую даму, которые так понравились ему вчера вечером. Для брата и сестры эти объятия и поцелуи казались слишком продолжительными; это была, по-видимому, влюбленная парочка, вероятнее всего, новобрачные, - тоже Август и Грета.

Но странно, Август и Грета не пришли в данную минуту на ум Норберту, - само происшествие не показалось ему смешным или противным, напротив, скорее усилило его расположение к молодым людям. То, что они делали, казалось ему естественным и понятным, - он смотрел на них с большим восторгом, чем на самые удивительные произве-

дения древнего искусства, и готов был и дальше заниматься своим наблюдением. Но он сознавал, что без всякого права вторгается в священное место и может нарушить тайну любви; при мысли, что его заметят, им овладел ужас; быстро повернувшись, беззвучно пошел он на цыпочках и, когда его шагов уже не было слышно, бросился, взволнованный, с бьющимся сердцем, на Vicolo del Fauno.

Когда он подошел к дому Мелеагра, он не знал, наступил ли уже полдень; но он не догадался посмотреть на часы, и остановился в нерешительности перед дверью, глядя на приветствие "Have" у порога. Его удерживал страх; он одинаково боялся и встретить там Градиву, и не встретить ее. В последнюю минуту ему в голову пришла мысль, что, если он не застанет ее на обычном месте, то значит, она находится где-либо в другом месте с каким-нибудь молодым человеком, - а если она окажется здесь, то этот молодой человек сидит, вероятно, рядом с нею на ступеньке. К нему он чувствовал более сильную ненависть, чем ко всем мухам вместе; до сегодняшнего дня он даже не допускал мысли, что может дойти до такой раздражительности. Дуэль, которую он всегда считал бессмыслицей, представилась ему естественным правом смертельно обиженного человека, оскорбленного в своих неотъемлемых правах, единственным средством получить удовлетворение или освободиться от жизни, ставшей теперь бесцельной. Быстрым движением он переступил порог; он хотел вызвать на дуэль дерзкого молодого человека, и - это было, пожалуй, еще важнее, - решил сказать Градиве прямо, что считал ее более благородной, неспособной на такую низость.

Это чувство возмущения до того овладело им, что он не в силах был удержать его даже тогда, когда убедился в его неосновательности. Стремительно ворвавшись в экус, он

воскликнул возбужденно: "Ты одна", - хотя было совершенно ясно, что Градива так же одиноко сидит на ступеньке, как и в предыдущие дни. Она посмотрела на него удивленно и ответила: "Кому же еще быть здесь после полудня. Теперь все люди голодны и сидят за едой. Природа устроила это очень удобно для меня".

Однако его возбуждение не могло так скоро улечься, и он невольно начал дальше излагать мысли, которые на пороге дома казались ему бесспорными. В свое оправдание он говорил, что иначе этого дела нельзя себе представить. Ясные глаза девушки были устремлены на него, и, когда он кончил говорить, она указала пальцем на свой лоб и многозначительно сказала: "Ты-" После минутного молчания она продолжала: "Кажется, уже достаточно того, что я не ушла отсюда, - хотя могла знать, что в это время ты явишься сюда. Но мне здесь нравится; я вижу, ты принес мой альбом, который я вчера забыла. Благодарю тебя за внимание. может быть, ты, наконец, отдашь его мне."

Последние слова она прибавила, видя, что он не двигается с места и, очевидно, не собирается вернуть альбом. Он постепенно начал сознавать, что сказал чудовищную глупость; чтобы сгладить впечатление, он быстро подошел к Градиве, подал ей альбом и машинально сел рядом с нею на ступеньку. Заметив букет в его руке, она сказала: "Ты, кажется, любишь розы".

Тогда он вспомнил, зачем сорвал и принес сюда цветы, и ответил: "Да, - но я их не для себя, - ты говорила вчера - и сегодня ночью кто-то мне говорил - что их дарят весной".

Она подумала минуту, потом ответила: "Ах, так - да, помню. Я говорила, что другим дают не асфодели, а розы. Это мило с твоей стороны; мне кажется, что ты стал лучшего мнения обо мне".

Она протянула руку за красными цветами; передавая их, он сказал: "Мне казалось сначала, что ты можешь приходить только в полдень; но потом я подумал, что это возможно и в другое время, - эта мысль сделала меня счастливым".

- Почему же эта мысль сделала тебя счастливым?

Ее лицо выражало недоумение, только в углах губ заиграла чуть заметная улыбка. Смущенно он проговорил: "Как хорошо быть живым - прежде мне никогда не приходилось радоваться этому... Я хотел тебя еще спросить -".

Он порылся в боковом кармане и, найдя то, что искал, прибавил: "Скажи, не принадлежала ли тебе когда-либо прежде эта пряжка?"

Она посмотрела внимательно и покачала головой. "Нет, не могу вспомнить. По времени это вполне возможно, так как она получена, вероятно, только в этом году. Не нашел ли ты ее в "Солнце"? Эта красивая зеленая патина мне знакома, мне кажется, что я ее уже где-то видала."

Он повторил невольно: "В солнце? Почему в солнце?"

"Sole" называется это место здесь, - оно производит многое в этом роде. Не принадлежала ли эта пряжка молодой девушке, которая погибла вместе со своим спутником в окрестностях форума?"

"Да, который держал ее в объятиях."

"Ах, так".

Это было, по-видимому, любимое восклицание Градивы. После минутного молчания, она продолжила: "не потому ли подумал ты, что я ее носила? Может быть, именно это обстоятельство, - как ты сказал, - делало тебя несчастным?"

Очевидно, какое-то бремя свалилось с него; это слышалось и в его голосе, когда он ответил: "Я очень рад; одна мысль, что эта застежка принадлежала тебе, вызывала у меня головокружение".

Твоя голова, кажется, очень подвержена этому. Не забыл ли ты сегодня утром позавтракать? Голод усиливает такие припадки; я не страдаю головокружениями, однако, всюду беру с собой какую-либо еду, так как люблю проводить здесь обеденное время. Если я чем-нибудь могу облегчить твое болезненное состояние, я охотно поделюсь с тобой своим завтраком.

Она вынула из кармана булку, завернутую в шелковую бумагу, разломила ее пополам, сунула одну половину ему в руку, а другую начала сама есть с большим аппетитом. Во время еды ее красивые белые зубы сверкали точно жемчуг, и хлебная корка так заманчиво хрустела под ними, что трудно было сомневаться в их реальности. Предположение Градивы относительно завтрака было, повидимому, правильно; он ел, машинально следуя ее примеру, и это производило весьма благотворное действие на просветление его мыслей. И некоторое время оба они предавались молча этому полезному занятию; наконец Градива сказала: “Мне сейчас кажется, что мы уже однажды, таким же образом ели вместе хлеб две тысячи лет тому назад. А ты не помнишь?”

Он не мог припомнить этого, но теперь ему показалось странным, что она говорила о таком далеком времени; пища успела вызвать перемену в его настроении. Мысль, что Градива столько веков разгуливала в Помпее, не мирилась со здравым смыслом; по всем признакам, Градиве не могло быть больше двадцати лет. Довольно было взглянуть на овал и цвет ее лица, на красивые, вьющиеся волосы и белоснежные зубы; нелепо было также предполагать, что светлое, без малейшего пятнышка платье пролежало бесчисленные годы в пемзовом пепле. Норберт начал сомневаться в своих чувствах: действительно ли сидит он здесь в бодрствующем состоянии; не заснул ли он у себя в рабочей комнате, рассматривая портрет Градивы, - и его поездка в

Помпею, встреча там с молодой девушкой, как будто с живым лицом, наконец, вот эта сцена сейчас в Casa di Meleagro, - все не более, как сон. Только во сне могло казаться, что Градива на самом деле жива или вновь ожила - законы природы вопиют против этого.

Странно торжественно звучали слова ее, когда она сказала, что уже две тысячи лет тому назад однажды так же делилась с ним хлебом. Этого он не знал и не мог представить себе даже во сне.

Ее левая рука с тонкими пальцами спокойно лежала на коленях - в ней был ключ к решению запутанной загадки.

Увы, дерзость комнатных мух не щадила даже экуса дома Мелеагра. Норберт увидел как одна из них, точно высматривая добычу, бегала взад и вперед по желтой колонне; вот она прожужжала у него под самым носом.

Однако надо было что-нибудь ответить на вопрос девушки, не помнит ли он, как они вместе ели хлеб; и неожиданно для себя он произнес: "А что, в то время мухи были тоже так дьявольски невыносимы и делали жизнь ненавистной?"

Она посмотрела на него с недоумением, очевидно, ничего не понимая и повторила: "Мухи? - Теперь у тебя муха в голове".

И вдруг черное чудовище село на ее руку, оставшуюся неподвижной, как если бы она ничего не чувствовала. При виде этого в молодом археологе зародились два разнородных желания, - убить муху и коснуться руки Градивы, - и оба эти желания толкнули его к одному и тому же действию: неожиданно его рука поднялась вверх и с силой опустилась на муху - и на руку соседки.

Он тотчас же спохватился и страшно сконфузился; в одно и то же время он почувствовал и радость и страх. Рука его не пролетела по пустому пространству, не наткнулась на что-то холодное, окоченелое, а встретила настоящую,

живую, теплую человеческую руку; несколько мгновений эта рука оставалась недвижимой под его рукой, - очевидно, Градива совершенно растерялась, но потом она резко отдернула руку, и он услыхал слова: "Ты, по-видимому, с ума сошел, Норберт Ганольд."

Имя, которого он никому не называл в Помпее, так легко, ясно и отчетливо было произнесено Градивой, что Норберт в ужасе вскочил со ступеньки. Но в это время под колоннадой зазвучали быстрые шаги, перед его смущенным взглядом мелькнули лица симпатичной влюбленной парочки из Casa de Fauno, и молодая дама воскликнула с крайним изумлением: "Зоя, ты тоже здесь? Тоже совершаешь свадебное путешествие? Но ведь ты мне ни слова не писала об этом!"

Норберт вновь очутился перед домом Мелеагра на Strada di Mercurio. Он не мог объяснить себе, как он туда попал, по-видимому, обратившись в бегство, он действовал безотчетно. Это было единственное средство выйти из невероятно смешного положения. Он стыдился и молодой пары, которая так дружески приветствовала Градиву, и Градивы, которая только что называла его по имени, а больше всего самого себя. Хотя во всем этом он ничего не понимал, одно было бесспорно: Градива с ее телесной, теплой, человеческой рукой была права; когда сказала, что в последние дни он близок к помешательству. И все случившееся было не сном, а реальной действительностью. Он не мог понять, как могло все это произойти; лишь смутно догадывался он, что здесь замешано какое-то шестое чувство, которое, всецело овладев человеком, может разумное и ценное превратить в нелепость. Необходимо было остаться наедине с собою, чтобы разобраться в этом вопросе; но

прежде всего Норберту хотелось уйти от людей, чувства которых совершенно нормальны.

Что касается Градивы, то неожиданное появление в доме Мелеагра ее подруги поразило ее и, по-видимому, не особенно приятно. Но неудовольствие быстро исчезло с ее умного лица, она встала, пошла навстречу молодой даме и сказала, подавая ей руку: "Это очень мило, Гиза, у случая бывают иногда приятные капризы. Так это твой муж? Я очень рада с ним познакомиться. Не думаю, чтобы мне пришлось менять свои поздравления на соболезнования. Те молодые пары, относительно которых приходится поступать таким образом, сидят сейчас в Помпее за обеденным столом... Вы, вероятно, поселились около "Ingresso", я зайду к вам сегодня после обеда. Я тебе ничего не писала, но ты не можешь быть на меня в претензии; как видишь на моей руке еще нет кольца. Я замечаю по тебе, что здешний воздух чрезвычайно сильно действует на воображение; конечно, это лучше чем избыток трезвости. Молодой человек, который только что ушел, тоже страдает каким-то странным бредом, он, кажется, думает, что у него в голове жужжит муха; впрочем, у всякого из нас сидит там какое-нибудь насекомое. Мне по обязанности пришлось познакомиться с энтомологией, и я могу быть в подобных случаях очень полезной. Мы с отцом живем в "Sole", ему внезапно пришла блестящая идея взять меня с собою сюда, если я устроюсь самостоятельно в Помпее и не буду предъявлять к нему никаких требований. Я решила, что и одна сумею раскопать для себя что-нибудь интересное. Правда, о находке, которую я сделала, т.е. о счастье встретить тебя, Гиза, я даже не мечтала. Но я, как старуха теряю время на болтовню, а ведь мы вовсе не так стары. Мой отец приходит в два часа прямо с солнцепека к обеденному столу "Солнца", и так как без меня он неохотно садиться за стол, я должна с вами проститься. Вы сможете и без меня

осмотреть Casa di Meleagro. Favorisca, signor! A rivederci *, Джизетта. На столько я уже научилась итальянскому языку, да больше, в сущности, не требуется. А то, что нужно сверх этого, черпаешь из самого себя - ах нет, пожалуйста, senza complimenti! **."

Последние слова прибавила она, заметив, что молодой супруг собирается ее проводить. Все это Зоя произнесла легко и просто, - что было естественно при неожиданной встрече с близкой приятельницей; но она говорила с такой невероятной быстротой, точно она была очень занята. Таким образом, всего несколько минут спустя после ухода Норберта Ганольда, она тоже вышла из дома Мелеагра на улицу Меркурия. Как всегда в этот час, улица была пустынна, только здесь и там пробегали ящерицы; остановившись на тротуаре, Градива стала обдумывать положение. Потом она торопливо пошла по кратчайшему направлению, к воротам Геркулеса, пересекла на углу Vicolo di Mercurio и Strada di Sallustio своей изящной быстрой походкой по переходным плитам, и очень скоро достигла развалин городских стен у Porta Ercolanese. За воротами тянулась улица могил, но теперь она не казалась ослепительно белой, залитой золотистыми лучами солнца, как вчера в это время, когда молодой археолог стоял здесь и смотрел вдоль нее. Сегодня солнце, по-видимому, утомилось от своей большой работы, оно закуталось в серый флер, который все больше и больше сгущался, и на этом фоне резкими, черными призраками вырисовывались растущие по Strada dei Sepolcri кипарисы. Не было, вчерашнего таинственного дрожащего блеска; сама улица стала мрачно отчетливой. И это впечатление мертвенности еще больше усиливалось от того, что в конце улицы одиноко

* Мое почтение, сударь! До свидания.

** Не беспокойтесь.

двигалась чья-то тень, словно там, около виллы Диомеда кто-то поднялся на могильный холм и исчез за надгробным памятником.

Кратчайший путь от дома Мелеагра до гостиницы "Солнце" лежал, конечно, не здесь, а как раз с противоположной стороны, но очевидно, Зоя-Градива решила, что не зачем так спешить к обеду. Остановившись на мгновение у ворот Геркулеса, она пошла дальше по плитам из лавы по улице могил, ставя ступню ноги каждый раз почти отвесно.

"Вилла Диомеда" - случайно получила название от гробницы, которую "отпущенный раб" Марк Аррий Диомед, бывший начальником этой части города, построил по близости для своей бывшей госпожи Аррии, а также для себя и своих близких. Эта вилла представляет очень большое здание и с нею связана трагическая страничка из истории гибели Помпеи. Целый лабиринт развалин составляет верхнюю часть виллы, ниже лежит большой сад, окруженный уцелевшим еще портиком, с остатками колодца и маленького храма посредине, а еще ниже две ступени ведут в полукруглый, слабо освещенный сумеречным светом, сводчатый подвальный ход. Сюда тоже проник пепел Везувия. При раскопках здесь нашли скелеты восемнадцати женщин и детей; ища спасения, укрылись они в этом подземелье, наскоро захватив кое-какую пищу, и обманчивое убежище превратилось для них в могилу. В другом месте лежал труп предполагаемого хозяина дома; он хотел спастись через запертую калитку сада, ключ от нее был зажат у него в руке. Рядом на земле сидел скорчившись другой скелет, очевидно, слуги, который нес большую сумму золотых и серебряных монет. Затвердевший пепел сохранил формы тел несчастных жертв; в Musco Nazionale в Неаполе хранится под стеклом найденный здесь точный отпечаток

шеи, плеч и красивой груди молодой девушки, одетой в тонкое, словно газовое, платье.

Виллу Диомеда считает своей обязанностью посетить каждый добросовестный турист; однако, можно было с уверенностью сказать, что теперь, в обеденный час, в особенности при отдаленности виллы, в ней нет посетителей. Поэтому она казалась Норберту Ганольду тем уединенным местом, где он мог бы лучше всего разобраться в своих мыслях. Он искал полного одиночества, мертвой тишины и покоя; но беспокойная кровь его протестовала против этого, требуя движения; примирить эти противоречия он мог лишь тем, что предоставил голове заниматься своими мыслями, а сам без устали ходил взад и вперед вдоль портика. Ему удалось достичь физического равновесия, и теперь он стремился также к душевному равновесию; это было гораздо легче задумать, чем исполнить. Все же для него стало ясно, что он поступил, как человек, лишенный здравого смысла, вообразив, что сидит рядом с воскресшей из мертвых молодой помпеянкой. Уже одно то, что Норберт сознавал это, говорило о восстановлении его нормальных умственных способностей. Все же он не мог вполне отрешиться от своей навязчивой идеи: хотя он и сознавал, что Градива не более, как мертвое, каменное изваяние, в то же время он не сомневался в том, что она жива. Ведь не только он, но и другие видели ее, называли ее Зоей и разговаривали с нею, как с живым существом. Но с другой стороны, она знала его имя, а узнать его она могла только сверхъестественным путем; это противоречие оставалось для него неразрешимым даже тогда, когда рассудок его начал проясняться. Такая же раздвоенность была и в его душе: ему хотелось быть мертвым, как эти жертвы, засыпанные в вилле Диомеда две тысячи лет тому назад, лишь бы не встретиться опять с Зоей-Градивой; но, в то же время, его охватывала радость при мысли, что он еще жив, а по-

тому может еще раз увидеться с нею. Как будто в его голове вращалось мельничное колесо, н сам он, как колесо, безостановочно кружил по длинному портнку, не находя выхода нз этих противоречий. Ему даже казалось, что все в нем н вокруг него затемняется еще больше.

Дойдя до одного нз четырех углов колоннады, он вдруг в ужасе отшатнулся: в нескольких шагах от него, на полуразрушенной высокой стене сидела одна из тех девушек, которые былн засыпаны здесь золой.

Нет, это не она. Норберт сейчас же сам понял это. Это была Граднва; он увндал ее, он чувствовал ее прнсутствие. Она сидела на высокой стене, так же невозмутнмо, как прежде сндела на ступеньке в зале дома Мелеагра, но теперь видны былн изящные ноги в песочно-желтых башмаках.

Первым инстинктивным двнжением Норберта было броситься в сад и убежать: то, чего он полчаса тому назад больше всего боялся, неожиданно наступнло; на него смотрелн ясные глаза девушки, готовой, как ему казалось, разразнться нроннческим смехом. Но вместо этого прозвучал спокойный голос: "В саду ты промокнешь."

Только теперь он заметил, что идет дождь; оттого н стало так темно. Бесспорно, это было очень полезно для растительности Помпеи, но смешно было бы думать, что и для Норберта Ганольда он тоже может быть полезен; а в данную минуту он больше смертн боялся быть смешным. Пришлось поневоле отказаться от бегства. Ганольд стоял беспомощно на месте, глядя на ноги девушки, капрнзно болтавшиеся, как будто имн овладело нетерпенне. Но вид нх не привел мыслей Норберта в спокойное состоянне; вндя, что он молчит, обладательница нзящных ножек заговорнла опять: "Нам тогда помешалн, - ты хотел рассказать мне что-то про мух... я подумала, что ты занимаешься здесь научнымн исследованиями; или, быть может, тебя

беспокоит муха, засевшая у тебя в голове? Что же? Ты поймал и убил ее на моей руке?"

Последние слова она произнесла с такой очаровательной улыбкой, что к молодому археологу вернулся дар речи. Теперь он не знал, удобно ли говорить девушке "ты", а потому он решил избегать в разговоре всяких личных обращений. Он сказал Градиве: "У меня в голове, как кто-то сказал, все перепуталось... Поэтому прошу прощение за то, что я таким образом... руку - как я мог быть столь безрассудным, мне совершенно непонятно - но также отказываюсь понять каким образом обладательница этой руки могла меня упрекнуть в этом безрассудстве, называя меня по имени".

Градива перестала болтать ногами. "По-видимому, ты все еще ничего не понимаешь, Норберт Ганольд. Правда, это меня не удивляет, ты уже давно меня к этому приучил. Чтобы получить новый урок, мне незачем было ехать в Помпею, - ты мог бы дать его на сто миль ближе."

"На сто миль ближе", - повторил он, не понимая,- "где же это?"

- Против твоей квартиры, в угловом доме, стоит у меня на окне клетка с канарейкой.

Слова эти пробудили в нем воспоминание далекого прошлого, и он повторил: "Канарейка... та, которая - которая поет..."

- Да, канарейки обыкновенно поют, - особенно весной, когда солнце начинает пригревать. В этом доме живет мой отец, профессор зоологии, Рихард Бертганг.

Глаза Норберта Ганольда расширились от удивления: "Бертганг - повтори он - стало быть вы - вы - Зоя Бертганг... Но ведь она выглядела совсем иначе."

Ноги девушки опять начали слегка раскачиваться, и Зоя Бертганг ответила: "Если ты считаешь обращение на "вы" более удобным, будем говорить так, - хотя для меня есте-

ственнее говорить вам "ты". Я не знаю, выглядела ли я иначе в то время, когда мы дружно по целым дням играли и бегали вместе, а при случае, для разнообразия, тузили и лупили друг друга! Но если бы в последние годы вы хоть один раз удостоили меня взгляда, быть может, вы убедились бы тогда, что я уже давно так выгляжу. - Однако дождь льет, как из ведра, на вас не останется сухой нитки".

Ноги Градивы болтались теперь нетерпеливо, а в ее голосе слышались раздражительные и недовольные ноты. Норберт чувствовал, что попал в положение школьника, молчаливо выслушивающего выговор. Он еще раз машинально оглянулся - нельзя ли убежать; именно это движение, выдавшее его намерение, вызвало последние, равнодушно сказанные слова Зои. Она была совершенно права, для дождя, который заливал теперь все кругом, определение "как из ведра" казалось слишком мягким. Тропические потоки, какие редко утоляют летнюю жажду полей Кампаньи, с ревом низвергались на землю, словно все Тирренское море собиралось затопить виллу Диомеда. Эти потоки казались плотной стеной, как бы сложенной из миллиардов жемчужных капель величиной в орех. Убежать теперь было совершенно невозможно; Норберту Ганольду приходилось стоять под портиком, как школьнику в классе, а молодая учительница с тонким, умным лицом, пользуясь его невольным заточением, продолжала дальше свои педагогические нравоучения:

- Тогда, ну, до того времени, пока нас не стали называть - сама не знаю отчего - подростками, во мне жила необыкновенная привязанность к вам, и я думала, что в целом мире не смогла бы никогда найти себе лучшего друга. Матери, сестры или брата у меня не было, для моего отца медянка в спирту была интереснее меня, но ведь что-нибудь должен иметь всякий - в том числе и девушка - чем можно было бы занять свои мысли и все то, что с ними связано.

Этим вы были иногда для меня. Но когда на вас обрушилось это несчастье - археология, я сделала открытие, что ты - простите, но ваше галантное нововведение звучит так нелепо и так не гармонирует с тем, что я хочу выразить и я хотела сказать: тогда именно стало ясно, что из тебя сделался несносный человек, который, по крайней мере, для меня не имел ни глаз в голове, ни языка во рту, ни воспоминаний, тех воспоминаний, которые у меня живо сохранились о нашем детстве. И, если я тебе казалась другой, чем прежде, то это потому, что, встречаясь изредка со мною в обществе, - последний раз это было еще прошлой зимой - ты не замечал меня, не разговаривал со мною. Впрочем, ты не делал для меня исключения, а поступал также точно и по отношению к другим. Я для тебя была пустым пространством, со своим белокурым локоном, за который я раньше так часто таскала тебя, был скучный, сухой и молчаливый, как чучело какаду, и притом важный, как археоптерикс - так, кажется, называется это птицеподобное ископаемое. Но я все же никогда не подозревала, чтобы в твоей голове могла зародиться такая дикая фантазия, - принять меня в Помпее тоже за ископаемое и притом воскресшее. Когда ты так неожиданно появился передо мною, мне стоило большого труда понять, какой нелепый бред овладел твоим воображением. Но потом это только забавляло меня и нравилось мне, несмотря на свое безумие. Повторяю, этого я за тобой не подозревала.

Зоя Бертганг закончила свою беспощадную обвинительную речь; правда, к концу она смягчила выражение и тон. Было удивительно, до чего походила она на рельеф Градивы. И не только чертами лица, а фигурой, умным выражением блестящих глаз красивыми, вьющимися волосами; ее платье и платок из тонкой кашемировой материи кремового цвета, с мягкими складками, довершали редкое сходство. Конечно, много нелепого было в уверенности

Норберта, что засыпанная Везувием два тысячелетия назад помпеянка может опять жить, гулять, говорить, рисовать и есть, но, вера, которая дарит людям блаженство, всегда заключает в себе много необъяснимого, а если, при оценке умственного состояния Норберта, принять во внимание все обстоятельства дела, станет понятным то странное помешательство, под влиянием которого два дня смотрел он на Градиву, как на воскресшую.

Хотя крыша портика защищала его от дождя, у него все же был вид мокрого пуделя. Однако, холодный душ подействовал на него хорошо. Сам не понимая почему, он чувствовал, что дышится ему как-то легче. Этому помогла, конечно, перемена тона к концу объяснения, - по крайней мере, с этого момента у него в глазах появился огонек, какой бывает у молитвенно настроенных людей в церкви, когда вера открывает им пути к спасению. А так как проповедь уже окончилась, и нечего было опасаться ее продолжения, он пробормотал несмело: "Да, теперь я вижу... ты совсем не изменилась - это ты Зоя - моя добрая, умная, подруга - как это странно!..."

- ... то, что нужно сначала умереть, чтобы потом воскреснуть? Для археолога это очевидно, необходимо?

- Нет, я имею в виду твое имя...

- Чем же оно странно?

Молодой археолог оказался сведущим не только в классических языках, но и в немецкой этимологии, и ответил: "Ведь "Бертганг" и "Градива" значит то же самое: "в сиянии идущая".

Башмаки Зоя Бертганг, похожие на сандалии, нетерпеливо болтались теперь, точно трясогузки; но, очевидно, не филологические разъяснения занимали девушку с сияющей походкой. По выражению ее лица видно было, что в ней созрело какое-то решение, которому помешали слова Норберта, произнесенные с глубоким чувством: "Какое

счастье, что ты не Градива, а такая же, как и та, симпатичная молодая дама".

На ее лице появилось выражение крайнего изумления. Она спросила: "Кто? О ком ты говоришь?"

- Та, что говорила с тобою в доме Мелеагра.

- Ты ее знаешь?

- Да, я ее уже видал. Это была первая женщина, которая мне очень понравилась.

- Вот как. Где же ты ее видал?

- Сегодня утром в доме Фавна. Там они оба чем-то занимались.

- Что же они делали?

- Не заметив меня, они целовались.

- Собственно говоря, это очень разумно. Иначе, зачем же им было совершать свое свадебное путешествие в Помпею.

При этих словах, картина перед глазами Норберта вдруг изменилась: старый обломок стены вдруг опустел, а та, которая, сидя на нем, произносила проповедь, соскочила вниз. Вернее, она вспорхнула, подобно быстро летящей трясогузке: не успел он сообразить, как Градива стояла уже на ногах. И, как бы продолжая свою речь, она сказала: "Но вот дождь перестал: власть слишком строгих повелителей не долго длится. Опять все вернулось в прежнее состояние, в том числе и я, а ты можешь опять разыскать Гизу Гартлебен, или, как она теперь называется, и усладить ее пребывание в Помпее научными комментариями. Мне же пора идти в гостиницу "Солнце". Отец, вероятно, уже ждет меня с обедом. Быть может, в обществе, где-нибудь мы еще встретимся, в Германии или на луне. Addio!"

Все это было сказано вежливым, холодным тоном благовоспитанной дамы, и, сделав шаг вперед, Зоя Бертганг по привычке поставила ступню правой ноги почти отвесно. Ступая по мокрой земле, она подобрала левой рукой пла-

тье. Получился законченный образ Градивы. Стоявший в нескольких шагах от нее Норберт теперь впервые заметил некоторое различие между живой и каменной Градивой. У последней не было чего-то, что было у первой, и, что особенно ясно выступало в данную минуту: ямочки на щеке, которая придавала лицу выражение не то огорчения, не то сдержанного смеха. На эту ямочку смотрел Норберт, и, хотя он уже пришел в нормальное состояние, Зое показалось, что он вновь поддался оптическому обману, потому что он вдруг воскликнул каким-то торжествующим тоном: "Вот опять муха!"

Это звучало так странно, что у Зои-Градивы, не видевшей самое себя, невольно вырвался вопрос: "Муха? - где?"

"Здесь на твоей щеке". В то же время он вдруг обнял ее за шею и потянулся губами к ямке, в которой, казалось, находилось ненавистное насекомое; но, очевидно, его трудно было поймать, потому что Норберт тотчас же снова воскликнул: "Смотри, теперь она сидит на губе", и при этом с быстротой молнии прильнул к губам девушки и долго не отрывался от них, из чего можно было заключить, что ему удалось, наконец, поймать отвратительную муху. И, странно, живая Градива не сопротивлялась ему; когда же, минуту спустя, она освободилась, чтобы перевести дыхание, она не сказала: "ты, по-видимому, с ума сошел, Норберт Ганольд"; напротив, на ее покрасневших губах играла милая улыбка, говорившая, что молодая девушка окончательно убедилась в полном умственном выздоровлении своего друга детства.

Две тысячи лет тому назад, в час своей гибели, вилла Диомеда видела и слышала много потрясающего, но теперь она в течение часа была свидетельницей таких вещей, которые менее всего способны внушать ужас. Наконец благоразумие Зои Бертганг восторжествовало, и она, правда, неохотно, сказала: "Теперь я действительно должна уй-

ти, иначе мой бедный отец умрет с голоду. Мне кажется, что ты можешь сегодня после обеда отказаться от общества Гизы Гартлебен; тебе больше нечему у нее учиться, - можешь смело предпочесть “Солнечную гостиницу”.

Из этого можно догадаться, о чем говорили молодые люди в течение целого часа и какого рода педагогическому воздействию подвергся Норберт со стороны девушки. Но сейчас его внимание было поглощено вопросом, который теперь впервые возник у него и наполнил его беспокойством. Он робко спросил: “Твой отец - а как он?”

Зоя невозмутимо ответила: “Вероятно, он никак не отнесется; я не принадлежу к числу необходимых экземпляров в его зоологической коллекции; иначе мое глупое сердце, быть может, не привязалось бы к тебе так сильно. Впрочем, я уже давно поняла, что женщина только тогда приносит человечеству пользу, когда освобождает мужчину от забот по хозяйству; от этих забот я почти всецело освободила отца, и в этом смысле ты тоже можешь быть спокоен за свое будущее. Но, если бы он неожиданно оказался в этом вопросе другого мнения, чем я, мы тогда устроим очень просто. Ты поедешь дня на два на Капри, поймаешь там травяным силком lacerta faraglionensis, - как это делать, я научу тебя на моем пальце - выпустишь ее здесь на волю и потом вторично поймаешь на его глазах. Тогда ты предложишь ему выбор между ящерицей и мною, и твой успех настолько обеспечен, что мне даже жалко тебя. Но я чувствую, что была неблагодарна коллеге Эймеру; без его гениального открытия, как надо ловить ящериц, я, вероятно, не попала бы в дом Мелеагра, о чем пришлось бы пожалеть не только тебе, но и мне”.

Последние слова она произнесла, уходя уже из виллы Диомеда; к сожалению, не было уже никого в живых из тех, кто слышал голос и речь настоящей Градивы; но, если и в этом отношении она была похожа на Зою Бертганг, то

смело можно сказать, что голос помпеянки отличался большой красотой, а ее речь большим лукавством.

По крайней мере, Норберт Ганольд был глубоко убежден в этом. Под влиянием охватившего его настроения он воскликнул: "Зоя, моя жизнь, моя прекрасная действительность, - наш медовый месяц мы проведем в Италии и Помпее!"

Это доказывало только, что обстоятельства, меняясь, вызывают также перемену в человеческих настроениях и заставляют людей забывать то, что они сами говорили раньше. Ему даже в голову не пришло, что его самого и его будущую спутницу может какой-нибудь мизантроп, - спутник по вагону - обозвать Августом и Гретой: он сейчас так же мало думал об этом, как и о том, что идет с Зоей рука об руку по улице могил в Помпее. Теперь эта улица не оправдывала своего названия; безоблачное небо опять сияло и смеялось над ними, солнце золотило старые плиты из лавы, на вершине Везувия протягивала свои ароматные ветви пиния, и весь раскопанный город казался засыпанным не пемзой и пеплом, а сверкающим дождем из жемчуга и алмазов. С этим блеском состязался блеск очей молодой дочери зоолога.

На предложение друга детства, тоже как будто выкопанного из развалин, она ответила: "Над этим мы не станем теперь ломать голову, мы успеем еще не раз и гораздо лучше обсудить этот вопрос в зависимости от наших будущих настроений. По крайней мере, я чувствую себя еще не достаточно оживший для такого рода географических споров".

По-видимому, девушка проявляла большую сдержанность в разрешении тех вопросов, над которыми она до сих пор еще не задумывалась. Они опять очутились у ворот Геркулеса, где в начале Strada Consolare пересекали улицу старые переходные плиты. Норберт Ганольд остановился

перед ними и сказал с дрожью в голосе: “Иди, пожалуйста, вперед”. Веселая лукавая улыбка пробежала по устам его спутницы, и, приподняв слегка левой рукой платье, перешла улицу в солнечном блеске возрожденная Градива Зоя Бертганг своей спокойно-скользкой походкой. И мечтательным взглядом следил за нею Норберт Ганольд.

